

А.П. Чехов - Чайка

Комедия в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ирина Николаевна Аркадина, по мужу Треплева, актриса.

Константин Гаврилович Треплев, ее сын, молодой человек.

Петр Николаевич Сорин, ее брат.

Нина Михайловна Заречная, молодая девочка, дочь богатого помещика.

Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, управляющий у Сорина.

Полина Андреевна, его жена.

Маша, его дочь.

Борис Алексеевич Тригорин, беллетрист.

Евгений Сергеевич Дорн, врач.

Семен Семенович Медведенко, учитель.

Яков, работник.

Повар.

Горничная.

Действие происходит в усадьбе Сорина. - Между третьим и четвертым действием проходит два года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник. Несколько стульев, столик.

Только что зашло солнце. На эстраде за опущенным занавесом Яков и другие работники; слышатся кашель и стук.

Маша и Медведенко идут слева, возвращаясь с прогулки.

Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?

Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Медведенко. Отчего? (В раздумье.) Не понимаю... Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего двадцать три рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритурку, а все же я не ношу траура.

Садятся.

Маша. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.

Медведенко. Это в теории, а на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись.

Маша (оглядываясь на эстраду). Скоро начнется спектакль.

Медведенко. Да. Играть будет Заречная, а пьеса сочинения Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас, не могу от тоски сидеть дома, каждый день хожу пешком шесть верст сюда да шесть обратно и встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств, семья у меня большая... Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?

Маша. Пустяки. (Нюхает табак.) Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью, вот и все. (Протягивает ему табакерку.) Одолжайтесь.

Медведенко. Не хочется.

Пауза.

Маша. Душно, должно быть ночью будет гроза. Вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность, а по-моему, в тысячу раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого...

Входят справа Сорин и Треплев.

Сорин (опираясь на трость). Мне, брат, в деревне как-то не того, и, понятная вещь, никогда я тут не привыкну. Вчера лег в десять и сегодня утром проснулся в девять с таким чувством, как будто от долгого сна у меня мозг прилип к черепу и все такое. (Смеется.) А после обеда нечаянно опять уснул, и теперь я весь разбит, испытываю кошмар, в конце концов...

Треплев. Правда, тебе нужно жить в городе. (Увидев Машу и Медведенка.) Господа, когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.

Сорин (Маше). Марья Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку, а то она воет. Сестра опять всю ночь не спала.

Маша. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте, пожалуйста. (Медведенку.) Пойдемте!

Медведенко (Треплеву). Так вы перед началом пришлите сказать.

Оба уходят.

Сорин. Значит, опять всю ночь будет вить собака. Вот история, никогда в деревне я не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть и все, но тут тебя так доймают всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. (Смеется.) Всегда я уезжал отсюда с удовольствием... Ну, а теперь я в отставке, деваться некуда в конце концов. Хочешь - не хочешь, живи...

Яков (Треплеву). Мы, Константин Гаврилыч, купаться пойдем.

Треплев. Хорошо, только через десять минут будьте на местах. (Смотрит на часы.) Скоро начнется.

Яков. Слушаю. (Уходит.)

Треплев (окидывая взглядом эстраду). Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая и дальше пустое пространство. Декораций никаких. Открывается вид прямо

на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.

Сорин. Великолепно.

Треплев. Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут ее, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. (Поправляет дяде галстук.) Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли...

Сорин (расчесывая бороду). Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил и все. Меня никогда не любили женщины. (Садясь.) Отчего сестра не в духе?

Треплев. Отчего? Скучает. (Садясь рядом.) Ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы, потому что ее беллетристу может понравиться Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.

Сорин (смеется). Выдумаешь, право...

Треплев. Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. (Посмотрев на часы.) Психологический курьез - моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больными ухаживает, как ангел; но попробуй похвалить при ней Дузе! Ого-го! Нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенною игрой в "La dame aux camélias" или в "Чад жизни", но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она скучает и злится, и все мы - ее враги, все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей, тринадцатого числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке семьдесят тысяч - это я знаю наверное. А попроси у нее займы, она станет плакать.

Сорин. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься и все. Успокойся, мать тебя обожает.

Треплев (обрывая у цветка лепестки). Любит - не любит, любит - не любит, любит - не любит. (Смеется.) Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы! Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки, а мне уже двадцать пять лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только тридцать два года, при мне же сорок три, и за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству, а по-моему, современный театр - это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль - маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят всё одно и то же, одно и то же, одно и то же, - то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью.

Сорин. Без театра нельзя.

Треплев. Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно. (Смотрит на часы.) Я люблю мать, сильно люблю; но она ведет бестолковую жизнь, вечно носится с этим беллетристом, имя ее постоянно треплют в газетах, - и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного; бывает жаль, что у меня мать известная актриса, и, кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения: бывало, у нее сидят в гостях сплошь все знаменитости, артисты и писатели, и между ними только один я - ничто, и меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции не зависящим, никаких талантов, денег ни гроша, а по паспорту я - киевский мещанин. Мой отец ведь киевский

мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда, бывало, в ее гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество, - я угадывал их мысли и страдал от унижения...

Сорин. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот беллетрист? Не поймешь его. Вс! молчит.

Треплев. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт, сыт по горло... Что касается его писаний, то... как тебе сказать? Мило, талантливо... но... после Толстого или Зола не захочешь читать Тригорина.

Сорин. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей: хотел жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое. Да. И маленьким литератором приятно быть, в конце концов.

Треплев (прислушивается). Я слышу шаги... (Обнимает дядю.) Я без нее жить не могу... Даже звук ее шагов прекрасен... Я счастлив безумно. (Быстро идет навстречу Нине Заречной, которая входит.) Волшебница, мечта моя...

Нина (взволнованно). Я не опоздала... Конечно, я не опоздала...

Треплев (целуя ее руки). Нет, нет, нет...

Нина. Весь день я беспокоилась, мне было так страшно! Я боялась, что отец не пустит меня... Но он сейчас уехал с мачехой. Красное небо, уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала. (Смеется.) Но я рада. (Крепко жмет руку Сорина.)

Сорин (смеется). Глазки, кажется, заплаканы... Ге-ге! Нехорошо!

Нина. Это так... Видите, как мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду, надо спешить. Нельзя, нельзя, бога ради не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.

Треплев. В самом деле, уже пора начинать, надо идти звать всех.

Сорин. Я схожу и вс!. Сию минуту. (Идет вправо и поет.) "Во Францию два гренадера..." (Оглядывается.) Раз так же вот я запел, а один товарищ прокурора и говорит мне: "А у вас, ваше превосходительство, голос сильный..." Потом подумал и прибавил: "Но... противный". (Смеется и уходит.)

Нина. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема... боятся, как бы я не пошла в актрисы... А меня тянет сюда к озеру, как чайку... мое сердце полно вами. (Оглядывается.)

Треплев. Мы одни.

Нина. Кажется, кто-то там...

Треплев. Никого.

Поцелуй.

Нина. Это какое дерево?

Треплев. Вяз.

Нина. Отчего оно такое темное?

Треплев. Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас.

Нина. Нельзя.

Треплев. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.

Нина. Нельзя, вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять.

Треплев. Я люблю вас.

Нина. Тсс..

Треплев (услышав шаги). Кто там? Вы, Яков?

Яков (за эстрадой). Точно так.

Треплев. Становитесь по местам. Пора. Луна восходит?

Яков. Точно так.

Треплев. Спирт есть? Сера есть? Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. (Нине.) Идите, там все приготовлено. Вы волнуетесь?..

Нина. Да, очень. Ваша мама - ничего, ее я не боюсь, но у вас Тригорин... Играть при нем мне страшно и стыдно... Известный писатель... Он молод?

Треплев. Да.

Нина. Какие у него чудесные рассказы!

Треплев (холодно). Не знаю, не читал.

Нина. В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц.

Треплев. Живые лица! Надо изображать жизнь не такую, как она есть, и не такую, как должна быть, а такую, как она представляется в мечтах.

Нина. В вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь...

Оба уходят за эстраду.

Входят Полина Андреевна и Дорн.

Полина Андреевна. Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши.

Дорн. Мне жарко.

Полина Андреевна. Вы не бережете себя. Это упрямство. Вы - доктор и отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала; вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе...

Дорн (напевает). "Не говори, что молодость сгубила".

Полина Андреевна. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной... вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится...

Дорн. Мне 55 лет.

Полина Андреевна. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и еще нравитесь женщинам.

Дорн. Так что же вам угодно?

Полина Андреевна. Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все!

Дорн (напевает). "Я вновь пред тобою..." Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это - идеализм.

Полина Андреевна. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Это тоже идеализм?

Дорн (пожав плечами). Что ж? В отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет десять-пятнадцать назад, вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком.

Полина Андреевна (хватает его за руку). Дорогой мой!

Дорн. Тише. Идут.

Входят Аркадина под руку с Сориным, Тригорин, Шамраев, Медведенко и Маша.

Шамраев. В 1873 году в Полатве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг! Чудно играла! Не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин, Павел Семеныч? В

Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемая. Где он теперь?

Аркадина. Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю! (Садится.)

Шамраев (вздыхнув). Пашка Чадин! Таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна! Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.

Дорн. Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.

Шамраев. Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil.

Треплев выходит из-за эстрады.

Аркадина (сыну). Мой милый сын, когда же начало?

Треплев. Через минуту. Прошу терпения.

Аркадина (читает из "Гамлета"). "Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах - нет спасенья!"

Треплев (из "Гамлета"). "И для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступленья?"

За эстрадой играют в рожок.

Господа, начало! Прошу внимания!

Я начинаю. (Стучит палочкой и говорит громко.) О вы, почтенные, старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!

Сорин. Через двести тысяч лет ничего не будет.

Треплев. Так вот пусть изобразят нам это ничего.

Аркадина. Пусть. Мы спим.

Поднимается занавес; открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом.

Нина. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, - словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно.

Пауза.

Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа - это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пивавки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.

Показываются болотные огни.

Аркадина (тихо). Это что-то декадентское.

Треплев (умоляюще и с упреком). Мама!

Нина. Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит... И вы, бледные огни, не слышите меня... Под утро вас рождает гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух.

Пауза.

Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, и после того материя и дух сольются в гармонии прекрасной и наступит царство мировой воли. Но этот будет, лишь когда мало-помалу, через длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль... А до тех пор ужас, ужас...

Пауза; на фоне озера показываются две красных точки.

Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза...

Аркадина. Серой пахнет. Это так нужно?

Треплев. Да.

Аркадина (смеется). Да, это эффект.

Треплев. Мама!

Нина. Он скучает без человека...

Полина Андреевна (Дорну). Вы сняли шляпу. Наденьте, а то простудитесь.

Аркадина. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.

Треплев (вспылив, громко). Пьеса кончена! Довольно! Занавес!

Аркадина. Что же ты сердишься?

Треплев. Довольно! Занавес! Подавай занавес! (Топнув ногой.) Занавес!

Занавес опускается.

Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию! Мне... я... (Хочет еще что-то сказать, но машет рукой и уходит влево.)

Аркадина. Что с ним?

Сорин. Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием.

Аркадина. Что же я ему сказала?

Сорин. Ты его обидела.

Аркадина. Он сам предупредил, что это шутка, и я относилась к его пьесе, как у шутке.

Сорин. Все-таки...

Аркадина. Теперь оказывается, что он написал великое произведение! Скажите пожалуйста! Стало быть, устроил он этот спектакль и надушил серой не для шутки, а для демонстрации... Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что нужно играть... Наконец,

это становится скучно. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки, воля ваша, надоедят хоть кому! Капризный, самолюбивый мальчик.

Сорин. Он хотел доставить тебе удовольствие.

Аркадина. Да? Однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А, по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер.

Тригорин. Каждый пишет так, как хочет и как может.

Аркадина. Пусть он пишет, как хочет и как может, только пусть оставит меня в покое.

Дорн. Юпитер, ты сердишься...

Аркадина. Я не Юпитер, а женщина. (Закуривает.) Я не сержусь, мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.

Медведенко. Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. (Живо, Тригорину.) А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живет наш брат - учитель. Трудно, трудно живется!

Аркадина. Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер такой славный! Слышите, господа, поют? (Прислушивается.) Как хорошо!

Полина Андреевна. Это на том берегу.

Пауза.

Аркадина (Тригорину). Сядьте возле меня. Лет 10-15 назад, здесь, на озере, музыка и пение слышались, непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу шесть помещьчьих усадеб. Помню, смех, шум, стрельба, и вс! романы, романы... Jeune premier'ом и кумиром всех этих шести усадеб был тогда вот, рекомендую (кивает на Дорна), доктор Евгений Сергеич. И теперь он очарователен, но тогда был неотразим. Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. (Громко.) Костя! Сын! Костя!

Маша. Я пойду поищу его.

Аркадина. Пожалуйста, милая.

Маша (идет влево). Ау! Константин Гаврилович!.. Ау! (Уходит.)

Нина (выходя из-за эстрады). Очевидно, продолжения не будет, мне можно выйти. Здравствуйте! (Целуется с Аркадиной и Полиной Андреевной.)

Сорин. Bravo! bravo!

Аркадина. Bravo, bravo! Мы любовались. С такою наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену!

Нина. О, это моя мечта! (Вздыхнув.) Но она никогда не осуществится.

Аркадина. Кто знает! Вот позвольте вам представить: Тригорин, Борис Алексеевич.

Нина. Ах, я так рада...(Сконфузившись.) Я всегда вас читаю...

Аркадина (усаживая ее возле). Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.

Дорн. Полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко.

Шамраев (громко). Яков, подними-ка, братец, занавес!

Занавес поднимается.

Нина (Тригорину). Не правда ли, странная пьеса?

Тригорин. Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренно играли. И декорация была прекрасная.

Пауза.

Должно быть, в этом озере много рыбы.

Нина. Да.

Тригорин. Я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.

Нина. Но, я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют.

Аркадина (смеясь). Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается.

Шамраев. Помню, в Москве в оперном театре однажды знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галерее бас из наших синодальных певчих, и вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, мы слышим в галерее: "Браво, Сильва!" - целую октавой ниже... Вот этак (низким баском): браво, Сильва... Театр так и замер.

Пауза. .

Дорн. Тихий ангел пролетел.

Нина. А мне пора. Прощайте.

Аркадина. Куда? Куда так рано? Мы вас не пустим.

Нина. Меня ждет папа.

Аркадина. Какой он, право... (Целуются.) Ну, что делать. Жаль, жаль вас отпускать.

Нина. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать!

Аркадина. Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка.

Нина (испуганно). О нет, нет!

Сорин (ей, умоляюще). Оставайтесь!

Нина. Не могу, Петр Николаевич.

Сорин. Оставайтесь на один час и все. Ну, что, право...

Нина (подумав, сквозь слезы). Нельзя! (Пожимает руку и быстро уходит.)

Аркадина. Несчастливая девушка в сущности. Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, и теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал все своей второй жене. Это возмутительно.

Дорн. Да, ее папенька порядочная-таки скотина, надо отдать ему полную справедливость.

Сорин (потирая озябшие руки). Пойдемте-ка, господа, и мы, а то становится сыро. У меня ноги болят.

Аркадина. Они у тебя, как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. (Берет его под руку.)

Шамраев (подавая руку жене). Мадам?

Сорин. Я слышу, опять воет собака. (Шамраеву.) Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать ее.

Шамраев. Нельзя, Петр Николаевич, боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня просо. (Идущему рядом Медведенку.) Да, на целую октаву ниже: "Браво, Сильва!" А ведь не певец, простой синодальный певчий.

Медведенко. А сколько жалованья получает синодальный певчий?

Все уходят, кроме Дорна.

Дорн (один). Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. В ней что-то есть. Когда это девочка говорила об одиночестве и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно... Вот, кажется, он идет. Мне хочется наговорить ему побольше приятного.

Треплев (входит). Уже нет никого.

Дорн. Я здесь.

Треплев. Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.

Дорн. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не слышал, и все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать.

Треплев крепко жмет ему руку и обнимает порывисто.

Фуй, какой нервный. Слезы на глазах... Я что хочу сказать? Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны!

Треплев. Так вы говорите - продолжать?

Дорн. Да... Но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту.

Треплев. Виноват, где Заречная?

Дорн. И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе, если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас.

Треплев (нетерпеливо). Где Заречная?

Дорн. Она уехала домой.

Треплев (в отчаянии). Что же мне делать? Я хочу ее видеть... Мне необходимо ее видеть... Я поеду...

Маша входит.

Дорн (Треплеву). Успокойтесь, мой друг.

Треплев. Но все-таки я поеду. Я должен поехать.

Маша. Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама. Она непокойна.

Треплев. Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое! Оставьте! Не ходите за мной!

Дорн. Но, но, но, милый... нельзя так... Нехорошо.

Треплев (сквозь слезы). Прощайте, доктор. Благодарю... (Уходит.)

Дорн (вздыхнув). Молодость, молодость!

Маша. Когда нечего больше сказать, то говорят: молодость, молодость... (Нюхает табак.)

Дорн (берет у нее табакерку и швыряет в кусты). Это гадко!

Пауза.

В доме, кажется, играют. Надо идти.

Маша. Погодите.

Дорн. Что?

Маша. Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить... (Волнуясь.) Я не люблю своего отца... но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всею душой чувствую, что вы мне близки... Помогите же мне, помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее... Не могу дольше...

Дорн. Что? В чем помочь?

Маша. Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий! (Кладет ему голову на грудь, тихо.) Я люблю Константина.

Дорн. Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро! (Нежно.) Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что?

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Площадка для крокета. В глубине направо дом с большою террасой, налево видно озеро, в котором, отражаясь, сверкает солнце. Цветники. Полдень. Жарко. Сбоку площадки, в тени старой липы, сидят на скамье Аркадина, Дорн и Маша. У Дорна на коленях раскрытая книга.

Аркадина (Маше). Вот встанемте.

Обе встают.

Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеич, кто из нас моложе?

Дорн. Вы, конечно.

Аркадина. Вот-с... А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите все на одном месте, не живете... И у меня правило: не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.

Маша. А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно; жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... И часто не бывает никакой охоты жить. (Садится.) Конечно, это все пустяки. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.

Дорн (напевает тихо). "Расскажите вы ей, цветы мои..."

Аркадина. Затем я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... (Подбоченясь, прохаживается по площадке.) Вот вам - как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть.

Дорн. Ну-с, тем не менее все-таки я продолжаю. (Берет книгу.) Мы остановились на лабазнике и крысах...

Аркадина. И крысах. Читайте. (Садится.) Впрочем, дайте мне, я буду читать. Моя очередь. (Берет книгу и ищет в ней глазами.) И крысах... Вот оно... (Читает.) "И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лабазнику

воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. И так, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполнить, она осаждаёт его посредством комплиментов, любезностей и угождений..." Ну, это у французов, может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполнить писателя, сама уже влюблена по уши, сделайте милость. Недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина...

Идет Сорин, опираясь на трость, и рядом с ним Нина; Медведенко катит за ним пустое кресло.

Сорин (тоном, каким ласкают детей). Да? У нас радость? Мы сегодня веселы в конце концов? (Сестре.) У нас радость! Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых три дня.

Нина (садится рядом с Аркадиной и обнимает ее). Я счастлива! Я теперь принадлежу вам.

Сорин (садится в свое кресло). Она сегодня красивенькая.

Аркадина. Нарядная, интересная... За это вы умница. (Целует Нину.) Но не нужно очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?

Нина. Он в купальне рыбу удит.

Аркадина. Как ему не надоест! (Хочет продолжать читать.)

Нина. Это вы что?

Аркадина. Мопассан "На воде", милочка. (Читает несколько строк про себя.) Ну, дальше неинтересно и неверно. (Закрывает книгу.) Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скучен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его почти совсем не вижу.

Маша. У него нехорошо на душе (Нине, робко.) Прошу вас, прочтите из его пьесы!

Нина (пожав плечами). Вы хотите? Это так неинтересно!

Маша (сдерживая восторг). Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят и лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос; а манеры, как у поэта.

Слышно, как храпит Сорин.

Дорн. Спокойной ночи!

Аркадина. Петруша!

Сорин. А?

Аркадина. Ты спишь?

Сорин. Нисколько.

Пауза.

Аркадина. Ты не лечишься, а это нехорошо, брат.

Сорин. Я рад бы лечиться, да вот доктор не хочет.

Дорн. Лечиться в шестьдесят лет!

Сорин. И в шестьдесят лет жить хочется.

Дорн. (досадливо). Э! Ну, принимайте вылериановые капли.

Аркадина. Мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на воды.

Дорн. Что ж? Можно поехать. Можно и не поехать.

Аркадина. Вот и пойми.

Дорн. И понимать нечего. Все ясно.

Пауза.

Медведенко. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить.

Сорин. Пустяки.

Дорн. Нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то; у вас расплывается ваше я, и вы уже относитесь к самому себе, как к третьему лицу - он.

Сорин (смеется). Вам хорошо рассуждать. Вы прожили на своем веку, а я? Я прослужил по судебному ведомству 28 лет, но еще не жил, ничего не испытал в конце концов и понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, и потому имеете склонность к философии, я же хочу жить и потому пью за обедом херес и курю сигары и все. Вот и все.

Дорн. Надо относиться к жизни серьезно, а лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие.

Маша (встает). Завтракать пора, должно быть. (Идет ленивою, вялою походкой.) Ногу отсидела... (Уходит.)

Дорн. Пойдет и перед завтраком две рюмочки пропустит.

Сорин. Личного счастья нет у бедняжки.

Дорн. Пустое, ваше превосходительство.

Сорин. Вы рассуждаете, как сытый человек.

Аркадина. Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки! Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют... Хорошо с вами, друзья, приятно вас слушать, но... сидеть у себя в номере и учить роль - куда лучше!

Нина (восторженно). Хорошо! Я понимаю вас.

Сорин. Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада, телефон... на улице извозчики и все...

Дорн (напевает). "Расскажите вы ей, цветы мои..."

Входит Шамраев, за ним Полина Андреевна.

Шамраев. Вот и наши. Добрый день! (Целует руку у Аркадиной, потом у Нины.) Весьма рад видеть вас в добром здоровье. (Аркадиной.) Жена говорит, что вы собираетесь сегодня ехать с нею вместе в город. Это правда?

Аркадина. Да, мы собираемся.

Шамраев. Гм... Это великолепно, но на чем же вы поедете, многоуважаемая? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, извольте вас спросить?

Аркадина. На каких? Почему я знаю - на каких!

Сорин. У нас же выездные есть.

Шамраев (волнуясь). Выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно! Это непостижимо! Высокоуважаемая! Извините, я благоговею перед вашим талантом, готов отдать за вас десять лет жизни, но лошадей я вам не могу дать!

Аркадина. Но если я должна ехать? Странное дело!

Шамраев. Многоуважаемая! Вы не знаете, что значит хозяйство!

Аркадина (вспылив). Это старая история! В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять для меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком!

Шамраев (вспылив). В таком случае я отказываюсь от места! Ищите себе другого управляющего (Уходит.)

Аркадина. Каждое лето так, каждое лето меня здесь оскорбляют! Нога моя здесь больше не будет!

Уходит влево, где предполагается купальня; через минуту видно, как она проходит в дом; за нею идет Тригорин с удочками и с ведром.)

Сорин (вспылив). Это нахальство! Это черт знает что такое! Мне это надоело в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей!

Нина (Полине Андреевне). Отказать Ирине Николаевне, знаменитой артистке! Разве всякое желание ее, даже каприз, не важнее вашего хозяйства? Просто невероятно!

Полина Андреевна (в отчаянии). Что я могу? Войдите в мое положение: что я могу?

Сорин (Нине). Пойдемте к сестре... Мы все будем умолять ее, чтобы она не уезжала. Не правда ли? (Глядя по направлению, куда ушел Шамраев.) Невыносимый человек! Деспот!

Нина (мешая ему встать). Сидите, сидите... Мы вас довезем...

(Она и Медведенко катят кресло.)

О, как это ужасно!

Сорин. Да, да, это ужасно... Но он не уйдет, я сейчас поговорю с ним.

Уходят; остаются только Дорн и Полина Андреевна.

Дорн. Люди скучны. В сущности следовало бы вашего мужа отсюда просто в шею, а ведь все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения. Вот увидите!

Полина Андреевна. Он и выездных лошадей послал в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня! Я заболела; видите, я дрожу... Я не выношу его грубости. (Умоляюще.) Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе... Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать...

Пауза.

Дорн. Мне пятьдесят пять лет, уже поздно менять свою жизнь.

Полина Андреевна. Я знаю, вы отказываете мне, потому что, кроме меня, есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно. Я понимаю. Простите, я надоела вам.

Нина показывается около дома; она рвет цветы.

Дорн. Нет, ничего.

Полина Андреевна. Я страдаю от ревности. Конечно, вы доктор, вам нельзя избегать женщин. Я понимаю...

Дорн (Нине, которая подходит). Как там?

Нина. Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма.

Дорн (встает). Пойти дать обоим валериановых капель...

Нина (подает ему цветы). Извольте!

Дорн. Merci bien. (Идет к дому.)

Полина Андреевна (идя с ним). Какие миленькие цветы! (Около дома, глухим голосом.) Дайте мне эти цветы! Дайте мне эти цветы! (Получив цветы, рвет их и бросает в сторону; оба идут в дом.)

Нина (одна). Как странно видеть, что известная артистка плачет, да еще по такому пустому поводу! И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут

во всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух головлей. Я думала, что известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу и своею славой, блеском своего имени как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность происхождения и богатство. Но они вот плачут, удят рыбу, играют в карты, смеются и сердятся, как все...

Треплев (входит без шляпы, с ружьем и с убитою чайкой). Вы одни здесь?

Нина. Одна.

Треплев кладет у ее ног чайку.

Что это значит?

Треплев. Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног.

Нина. Что с вами? (Поднимает чайку и глядит на нее.)

Треплев (после паузы). Скоро таким же образом я убью самого себя.

Нина. Я вас не узнаю.

Треплев. Да, после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне, ваш взгляд холоден, мое присутствие стесняет вас.

Нина. В последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно, какими-то символами. И вот эта чайка тоже, по-видимому, символ, но. простите, я не понимаю... (Кладет чайку на скамью.) Я слишком проста, чтобы понимать вас.

Треплев. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив! Ваше охлаждение страшно, невероятно, точно я проснулся и вижу вот, будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. О, что тут понимать?! Пьеса не понравилась, вы презираете мое вдохновение, уже считаете меня заурядным, ничтожным, каких много... (Топнув ногой.) Как это я хорошо понимаю, как понимаю! У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет, как змея... (Увидев Тригорина, который идет, читая книжку.) Вот идет истинный талант; ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. (Дразнит.) "Слова, слова, слова..." Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. (Уходит быстро.) Тригорин (записывая в книжку). Нюхает табак и пьет водку... Всегда в черном. Ее любит учитель...

Нина. Здравствуйте, Борис Алексеевич!

Тригорин. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль, мне приходится не часто встречать молодых девушек, молодых и интересных, я уже забыл и не могу себе ясно представить, как чувствуют себя в 18-19 лет, и потому у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете, и вообще что вы за штука.

Нина. А я хотела бы побывать на вашем месте.

Тригорин. Зачем?

Нина. Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны?

Тригорин. Как? Должно быть, никак. Об этом я никогда не думал. (Подумав.) Что-нибудь из двух: или вы преувеличиваете мою известность, или же вообще она никак не ощущается.

Нина. А если читаете про себя в газетах?

Тригорин. Когда хвалят, приятно, а когда бранят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе.

Нина. Чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам, - вы один из миллиона, - выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения... вы счастливы...

Тригорин. Я? (Пожимая плечами.) Гм... Вы вот говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни, а для меня все эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.

Нина. Ваша жизнь прекрасна!

Тригорин. Что же в ней особенно хорошего? (Смотрит на часы.) Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда... (Смеется.) Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль, и вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни... Ну-с, с чего начнем? (Подумав немного.) Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязная мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую... Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовый цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ан - нет, в голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро - новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? "Что пописываете? Чем нас подарите?" Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение, - все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое это было мучение!

Нина. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких, счастливых минут?

Тригорин. Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно. Но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы

писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... (Смеясь.) А публика читает: "Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого", или: "Прекрасная вещь, но "Отцы и дети" Тургенева лучше". И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо - больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить; "Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева".

Нина. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом.

Тригорин. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу... Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив, и фальшив до мозга костей.

Нина. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собою, но для других вы велики и прекрасны! Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице.

Тригорин. Ну, на колеснице... Агамемнон я, что ли?

Оба улыбнулись.

Нина. За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы... (Закрывает лицо руками.) Голова кружится... Уф!..

Голос Аркадиной (из дому): "Борис Алексеевич!"

Тригорин. Меня зовут... Должно быть, укладываться. А не хочется уезжать. (Оглядывается на озеро.) Ишь ведь какая благодать!.. Хорошо!

Нина. Видите на том берегу дом и сад?

Тригорин. Да.

Нина. Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нем каждый островок.

Тригорин. Хорошо у вас тут! (Увидев чайку.) А это что?

Нина. Чайка. Константин Гаврилыч убил.

Тригорин. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась. (Записывает в книжку.)

Нина. Что это вы пишете?

Тригорин. Так записываю... Сюжет мелькнул... (Пряча книжку.) Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы; любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку.

Пауза.

В окне показывается Аркадина.

Аркадина. Борис Алексеевич, где вы?

Тригорин. Сейчас! (Идет и оглядывается на Нину; у окна, Аркадиной.) Что?

Аркадина. Мы остаемся.

Тригорин уходит в дом.

Нина. (подходя к рампе; после некоторого раздумья). Сон!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Столовая в доме Сорина. Направо и налево двери. Буфет. Шкаф с лекарствами. Посреди комнаты стол. Чемодан и картонки, заметны приготовления к отъезду. Тригорин завтракает, Маша стоит у стола.

Маша. Все это я рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести: если бы он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. А все же я храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву.

Тригорин. Каким же образом?

Маша. Замуж выхожу. За Медведенка.

Тригорин. Это за учителя?

Маша. Да.

Тригорин. Не понимаю, какая надобность.

Маша. Любить безнадежно, целые годы все ждать чего-то... А как выйду замуж, будет уже не до любви, новые заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?

Тригорин. А не много ли будет?

Маша. Ну, вот! (Наливает по рюмке.) Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я, а большинство тайно. Да. И вся водку или коньяк. (Чокается.) Желаю вам! Вы человек простой, жалко с вами расставаться.

Пьют.

Тригорин. Мне самому не хочется уезжать.

Маша. А вы попросите, чтобы она осталась.

Тригорин. Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы... Но ведь всем хватит места, и новым и старым, - зачем толкаться?

Маша. Ну, и ревность. Впрочем, это не мое дело.

Пауза. Яков проходит слева направо с чемоданом; входит Нина и останавливается у окна. Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко. И его мать-старушку жалко. Ну-с, позвольте пожелать вам всего хорошего. Не поминайте лихом. (Крепко пожимает руку.) Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не

пишите "многоуважаемой", а просто так: "Марье, родства не помнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете". Прощайте! (Уходит.)

Нина (протягивая в сторону Тригорина руку, сжатую в кулак). Чт или нечет?

Тригорин. Чт.

Нина (вздыхнув). Нет. У меня в руке только одна горошина. Я загадала: идти мне в актрисы или нет? Хоть бы посоветовал кто.

Тригорин. Тут советовать нельзя.

Пауза.

Нина. Мы расстаемся и... пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы... а с этой стороны название вашей книжки: "Дни и ночи."

Тригорин. Как грациозно! (Целует медальон.) Прелестный подарок!

Нина. Иногда вспоминайте обо мне.

Тригорин. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать вас, какую вы были в тот ясный день - помните? - неделю назад, когда вы были в светлом платье... Мы разговаривали... еще тогда на скамье лежала белая чайка.

Нина (задумчиво). Да, чайка...

Пауза.

Больше нам говорить нельзя, сюда идут... Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас... (Уходит влево; одновременно входят справа Аркадина, Сорин во фраке со звездой, потом Яков, озабоченный укладкой.)

Аркадина. Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? (Тригорину.) Это кто сейчас вышел? Нина?

Тригорин. Да.

Аркадина. Pardon, мы помешали... (Садится.) Кажется, все уложила. Замучилась.

Тригорин (читает на медальоне). "Дни и ночи", страница 121, строки 11 и 12.

Яков (убирая со стола). Удочки тоже прикажете уложить?

Тригорин. Да, они мне еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.

Яков. Слушаю.

Тригорин (про себя). Страница 121, строки 11 и 12. Что же в этих строках? (Аркадиной.) Тут в доме есть мои книжки?

Аркадина. У брата в кабинете, в угловом шкапу.

Тригорин. Страница 121... (Уходит.)

Аркадина. Право, Петруша, остался бы дома...

Сорин. Вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.

Аркадина. А в городе что же?

Сорин. Особенного ничего, но все же. (Смеется.) Будет закладка земского дома и все такое... Хочется хоть час-другой воспрянуть от этой пискариной жизни, а то очень уж я залежался, точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, в одно время и выедем.

Аркадина (после паузы). Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его. Наставляй.

Пауза.

Вот уеду, так и не буду знать, отчего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше.

Сорин. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан, но все же в конце концов ему кажется, что он лишний в доме, чего он тут нахлебник, приживал. Понятная вещь, самолюбие...

Аркадина. Горе мне с ним! (В раздумье.) Поступить бы ему на службу, что ли...

Сорин (насвистывает, потом нерешительно). Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты... дала ему немного денег. Прежде всего ему нужно одеться по-человечески и все. Один и тот же сюртучишка он таскает три года, ходит без пальто... (Смеется.) Да и погулять малому не мешало бы... Поехать за границу, что ли... Это ведь не дорого стоит.

Аркадина. Все-таки... Пожалуй, на костюм я еще могу, но чтоб за границу... Нет, в настоящее время и на костюм не могу. (Решительно.) Нет у меня денег!

Сорин смеется.

Нет!

Сорин (насвистывает). Так-с. Прости, милая, не сердись. Я тебе верю... Ты великодушная, благородная женщина.

Аркадина (сквозь слезы). Нет у меня денег!

Сорин. Будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему, но у меня ничего нет, ни пятак. (Смеется.) всю мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают...

Аркадина. Да, у меня есть деньги, но ведь я артистка; одни туалеты разорили совсем.

Сорин. Ты добрая, милая... Я тебя уважаю... Да... Но опять со мною что-то того... (Пошатывается.) Голова кружится. (Держится за стол.) Мне дурно и все.

Аркадина (испуганно). Петруша! (Стараясь поддержать его.) Петруша, дорогой мой... (Кричит.) Помогите мне! Помогите!..

Входят Треплев с повязкой на голове, Медведенко.

Ему дурно!

Сорин. Ничего, ничего... (Улыбается и пьет воду.) Уже прошло... и все...

Треплев (матери). Не пугайся, мама, это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. (Дяде.) Тебе, дядя, надо полежать.

Сорин. Немножко, да... А все-таки в город я поеду... Полежу и поеду... понятная вещь... (Идет, опираясь на трость.)

Медведенко (ведет его под руку). Есть загадка: утром на четырех, в полдень на двух, вечером на трех...

Сорин (смеется). Именно. А ночью на спине. Благодарю вас, я сам могу идти...

Медведенко. Ну вот, церемонии!..

Он и Сорин уходят.

Аркадина. Как он меня напугал!

Треплев. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует. Вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему взаймы тысячи полторы-две, то он мог бы прожить в городе целый год.

Аркадина. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша.

Пауза.

Треплев. Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь.

Аркадина (достаёт из аптечного шкафа йодоформ и ящик с перевязочным материалом). А доктор опоздал.

Треплев. Обещал быть к десяти, а уже полдень.

Аркадина. Садись. (Снимает у него с головы повязку.) Ты как в чалме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне, какой ты национальности. А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки. (Целует его в голову.) А ты без меня опять не сделаешь чик-чик?

Треплев. Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собою.

Больше это не повторится. (Целует ей руку.) У тебя золотые руки. Помню, очень давно, когда ты еще служила на казенной сцене, - я тогда был маленьким, - у нас во дворе была драка, сильно побили жилицу-прачку. Помнишь? Ее подняли без чувств... ты все ходила к ней, носила лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?

Аркадина. Нет. (Накладывает новую повязку.)

Треплев. Две балерины жили тогда в том же доме, где мы... Ходили к тебе кофе пить...

Аркадина. Это помню.

Треплев. Богомольные они такие были.

Пауза.

В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя, теперь у меня никого не осталось. Только зачем, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?

Аркадина. Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность...

Треплев. Однако когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает. Позорное бегство!

Аркадина. Какой вздор! Я сама прошу его уехать отсюда.

Треплев. Благороднейшая личность! Вот мы с тобою почти ссоримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами... развивает Нину, старается окончательно убедить ее, что он гений.

Аркадина. Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.

Треплев. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но прости, я лгать не умею, от его произведений мне претит.

Аркадина. Это зависть. Людям не талантливым, но с претензиями, ничего больше не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать, утешение!

Треплев (иронически). Настоящие таланты! (Гневно.) Я талантливее вас всех, коли на то пошло! (Срывает с головы повязку.) Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите! Не признаю я вас! Не признаю ни тебя, ни его!

Аркадина. Декадент!..

Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах!

Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин! Приживал!

Треплев. Скряга!

Аркадина. Оборвыш!

Треплев садится и тихо плачет.

Ничтожество! (Пройдясь в волнении.) Не плачь. Не нужно плакать... (Плачет.) Не надо... (Целует его в лоб, в щеки, в голову.) Милое мое дитя, прости... Прости свою грешную мать. Прости меня, несчастную.

Треплев (обнимает ее). Если бы ты знала! Я все потерял. Она меня не любит, я уже не могу писать... пропали все надежды...

Аркадина. Не отчаивайся... Все обойдется. Он сейчас уедет, она опять тебя полюбит. (Утирает ему слезы.) Будет. Мы уже помирились.

Треплев (целует ей руки). Да, мама.

Аркадина (нежно). Помиришь и с ним. Не надо дуэли... Ведь не надо?

Треплев. Хорошо... Только, мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело... выше сил...

Входит Тригорин.

Вот... Я выйду... (Быстро убирает в шкаф лекарства.) А повязку уже доктор сделает...

Тригорин (ищет в книжке). Страница 121..., строки 11 и 12... вот... (Читает.) "Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее".

Треплев подбирает с полу повязку и уходит.

Аркадина (поглядев на часы). Скоро лошадей подадут.

Тригорин (про себя). Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и позьми ее.

Аркадина. У тебя, надеюсь, все уже уложено?

Тригорин (нетерпеливо). Да, да... (В раздумье.) Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?.. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. (Аркадиной.) Останемся еще на один день!

Аркадина отрицательно качает головой.

Останемся!

Аркадина. Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь. Но имей над собою власть. Ты немного опьянел, отрезвись.

Тригорин. Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительна, умоляю тебя, взгляни на все это, как истинный друг... (Жмет ей руку.) Ты способна на жертвы... Будь моим другом, отпусти меня...

Аркадина (в сильном волнении). Ты так увлечен?

Тригорин. Меня манит к ней! Быть может, это именно то, что мне нужно.

Аркадина. Любовь провинциальной девочки? О, как ты мало себя знаешь!

Тригорин. Иногда люди спят на ходу, так вот я говорю с тобой, а сам будто сплю и вижу ее во сне... Мною овладели сладкие, дивные мечты... Отпусти...

Аркадина (дрожа). Нет, нет... Я обыкновенная женщина, со мною нельзя говорить так... Не мучай меня, Борис... Мне страшно...

Тригорин. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенною. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грёз, - на земле только она одна может дать счастье! Такой любви я не испытал еще ... В молодости было некогда, я обивал пороги редакций, боролся с нуждой... Теперь вот она, эта любовь, пришла, наконец, манит... Какой же смысл бежать от нее?

Аркадина (с гневом). Ты сошел с ума!

Тригорин. И пускай.

Аркадина. Вы все сговорились сегодня мучить меня! (Плачет.)

Тригорин (берет себя за голову). Не понимает! Не хочет понять!

Аркадина. Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною можно, не стесняясь, говорить о других женщинах? (Обнимает его и целует.) О, ты обезумел! Мой прекрасный, дивный... Ты, последняя страница моей жизни! (Становится на колени.) Моя радость, моя гордость, мое блаженство... (Обнимает его колени.) Если ты покинешь меня хотя на один час, то я не переживу, сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель...

Тригорин. Сюда могут войти. (Помогает ей встать.)

Аркадина. Пусть, я не стыжусь моей любви к тебе. (Целует ему руки.) Сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пущу... (Смеется.) Ты мой... ты мой... И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя, как живые. О, тебя нельзя читать без восторга! Ты думаешь, это фимиам? Я лъщу? Ну посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунью? Вот и видишь, я одна умею ценить тебя; одна говорю тебе правду, мой милый, чудный. Поедешь? Да? Ты меня не покинешь?..

Тригорин. У меня нет своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный - неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози, но только не отпускай от себя ни на шаг...

Аркадина (про себя). Теперь он мой. (Развязно, как ни в чем не бывало.) Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. В самом деле, куда тебе спешить?

Тригорин. Нет, уж поедем вместе.

Аркадина. Как хочешь, вместе, так вместе...

Пауза.

Тригорин записывает в книжку.

Что ты?

Тригорин. Утром слышал хорошее выражение: "Девичий бор..." Пригодится. (Потягивается.) Значит, ехать? Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры...

Шамраев (входит). Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже, многоуважаемая, ехать на станцию; поезд приходит в два и пять минут. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость, не забудьте навести справочку: где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то... в "Ограбленной почте" играл неподражаемо... С ним тогда, помню, в Елисаветграде служил трагик Измайлов, тоже

личность замечательная... Не торопитесь, многоуважаемая, пять минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков, и когда их вдруг накрыли, то надо было сказать: "Мы попали в западню", а Измайлов - "Мы попали в запендю"... (Хохочет.) Запендю!..

Пока он говорит, Яков хлопчет около чемодана, горничная приносит Аркадиной шляпу, манто, зонтик, перчатки:
все помогают Аркадиной одеться. Из левой двери выглядывает повар, который немного походя входит нерешительно.
Входит Полина Андреевна, потом Сорин и Медведенко.

Полина Андреевна (с корзиночкой). Вот вам слив на дорогу... Очень сладкие. Может, захотите полакомиться...

Аркадина. Вы очень добры, Полина Андреевна.

Полина Андреевна. Прощайте, моя дорогая! Если что было не так, то простите. (Плачет.)

Аркадина (обнимает ее). Все было хорошо, все было хорошо. Только вот плакать не нужно.

Полина Андреевна. Время наше уходит!

Аркадина. Что же делать!

Сорин (в пальто с пелериной, в шляпе, с палкой, выходит из левой двери; проходя через комнату). Сестра, пора, как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться. (Уходит.)

Медведенко. А я пойду пешком на станцию... провожать. Я живо... (Уходит.)

Аркадина. До свиданья, мои дорогие... Если будем живы и здоровы, летом опять увидимся...

Горничная, Яков и повар целуют у нее руку.

Не забывайте меня. (Подает повару рубль.) Вот вам рубль на троих.

Повар. Покорнейше благодарим, барыня. Счастливой вам дороги! Много вами довольны!

Яков. Дай бог час добрый!

Шамраев. Письмецом бы осчастливили! Прощайте, Борис Алексеевич!

Аркадина. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо проститься. Ну, не поминайте лихом. (Якову.) Я дала рубль повару. Это на троих.

Все уходят вправо. Сцена пуста. За сценой шум, какой бывает, когда провожают.

Горничная возвращается, чтобы

взять со стола корзину со сливами, и опять уходит.

Тригорин (возвращаясь). Я забыл свою трость. Она, кажется, там на террасе. (Идет и у левой двери встречается с Ниной, которая входит.) Это вы? Мы уезжаем...

Нина. Я чувствовала, что мы еще увидимся. (Возбужденно.) Борис Алексеевич, я решила бесповоротно, жребий брошен, я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь, я уйду от отца, покидаю все, начинаю новую жизнь... Я уезжаю, как и вы... в Москву. Мы увидимся там.

Тригорин (оглянувшись). Остановитесь в "Славянском базаре"... Дайте мне тотчас же знать... Молчановка, дом Грохольского... Я тороплюсь...

Пауза.

Нина. Еще одну минуту...

Тригорин (вполголоса). Вы так прекрасны... О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся!

Она склоняется к нему на грудь.

Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку... эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты... Дорогая моя...

Продолжительный поцелуй.

З а н а в е с

Между третьим и четвертым действием проходит два года.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Одна из гостиных в доме Сорина, обращенная Константином Треплевым в рабочий кабинет. Направо и налево двери, ведущие во внутренние покои, Прямо стеклянная дверь на террасу. Кроме обычной гостиной, в правом углу письменный стол, возле левой двери турецкий диван, шкаф с книгами, книги на окнах, на стульях. - Вечер. Горит одна лампа под колпаком Полумрак. Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах. Стучит сторож. Медведенко и Маша входят.

Маша (окликает). Константин Гаврилыч! Константин Гаврилыч! (Осматриваясь.) Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя... Жить без него не может...

Медведенко. Боится одиночества. (Прислушиваясь.) Какая ужасная погода! Это уже вторые сутки.

Маша (припускает огня в лампе). На озере волны. Громадные.

Медведенко. В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал.

Маша. Ну, вот...

Пауза.

Медведенко. Поедем, Маша, домой!

Маша (качает отрицательно головой). Я здесь останусь ночевать.

Медведенко (умоляюще). Маша, поедем! Наш ребеночек небось голоден.

Маша. Пустяки. Его Матрена покормит.

Пауза.

Медведенко. Жалко. Уже третью ночь без матери.

Маша. Скучный ты стал. Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенок, домой, ребенок, домой, - и больше от тебя ничего не услышишь.

Медведенко. Поедем, Маша!

Маша. Поезжай сам.

Медведенко. Твой отец не даст мне лошади.

Маша. Да ст. Ты попроси, он и даст.

Медведенко. Пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь?

Маша (нюхает табак). Ну, завтра. Пристал...

Входят Треплев и Полина Андреевна; Треплев принес подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное белье: кладут на турецкий диван, затем Треплев идет к своему столу и садится. Зачем это, мама?

Полина Андреевна. Петр Николаевич просил постлать ему у Кости.

Маша. Давайте я... (Постилает постель.)

Полина Андреевна (вздыхнув). Старый, что малый... (Подходит к письменному столу и, облокотившись, смотрит в рукопись.)

Пауза.

Медведенко. Так я пойду. Прощай. Маша. (Целует у жены руку.) Прощайте, мамаша. (Хочет поцеловать руку у тещи.)

Полина Андреевна (досадливо). Ну! Иди с богом.

Медведенко. Прощайте, Константин Гаврилыч.

Треплев молча подает руку: Медведенко уходит.

Полина Андреевна (глядя в рукопись). Никто не думал и не гадал, что из вас. Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава Богу, и деньги стали вам присылать из журналов. (Проводит рукой по его волосам.) И красивый стал... Милый Костя, хороший, будьте поласковее с моей Машенькой!..

Маша (постилая). Оставьте его, мама.

Полина Андреевна (Треплеву). Она славненькая.

Пауза.

Женщине, Костя, ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.

Треплев встает из-за стола и молча уходит.

Маша. Вот и рассердили. Надо было приставать!

Полина Андреевна. Жалко мне тебя, Машенька.

Маша. Очень нужно!

Полина Андреевна. Сердце мое за тебя переболело. Я ведь все вижу, все понимаю.

Маша. Все глупости. Безнадежная любовь - это только в романах. Пустяки. Не нужно только распускать себя и все чего-то ждать, ждать у моря погоды... Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда, - все забуду... с корнем из сердца вырву.

Через две комнаты играют меланхолический вальс.

Полина Андреевна. Костя играет. Значит, тоскует.

Маша (делает бесшумно два-три тура вальса). Главное, мама, перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там. поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.

Открывается левая дверь, Дорн и Медведенко катят в кресле Сорина.

Медведенко. У меня теперь в доме шестеро. А мука семь гривен пуд.

Дорн. Вот тут и вертись.

Медведенко. Вам хорошо смеяться. Денег у вас куры не клюют.

Дорн. Денег? За тридцать лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только две тысячи, да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет.

Маша (мужу). Ты не уехал?

Медведенко (виновато). Что ж? Когда не дают лошади!

Маша (с горькой досадой, вполголоса). Глаза бы мои тебя не видели!

Кресло останавливается в левой половине комнаты; Полина Андреевна, Маша и Дорн садятся возле; Медведенко, опечаленный, в сторону.

Дорн. Сколько у вас перемен, однако! Из гостиной сделали кабинет.

Маша. Здесь Константину Гаврилычу удобнее работать. Он может, когда угодно, выходить в сад и там думать.

Стучит сторож.

Сорин. Где сестра?

Дорн. Поехала на станцию встречать Тригорина. Сейчас вернется.

Сорин. Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен.

(Помолчав.) Вот история, я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.

Дорн. А чего вы хотите? Валериановых капель? Соды? Хины?

Сорин. Ну, начинается философия. О, что за наказание! (Кивнув головой на диван.) Это для меня послано?

Полина Андреевна. Для вас, Петр Николаевич.

Сорин. Благодарю вас.

Дорн (напевает). "Месяц плывет по ночным небесам..."

Сорин. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так, "Человек, который хотел". "L'homme, qui a voulu". В молодости когда-то хотел я сделаться литератором - и не сделался; хотел красиво говорить - и говорил отвратительно (дразнит себя), "и вс! и вс! такое, того, не того"... и, бывало, резюме везешь, везешь, даже в пот ударит; хотел жениться - и не женился; хотел всегда жить в городе - и вот кончаю свою жизнь в деревне, и все.

Дорн. Хотел стать действительным статским советником - и стал.

Сорин (смеется). К этому я не стремился. Это вышло само собою.

Дорн. Выражать недовольство жизнью в шестьдесят два года, согласитесь, - это не великодушно.

Сорин. Какой упрямец. Поймите, жить хочется!

Дорн. Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.

Сорин. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты и потому равнодушны к жизни, вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.

Дорн. Страх смерти - животный страх... Надо подавлять его. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-

первых, неверующий, во-вторых - какие у вас грехи? Вы двадцать пять лет прослужили по судебному ведомству - только всего.

Сорин (смеется). Двадцать восемь...

Входит Треплев и садится на скамеечке у ног Сорина. Маша все время не отрывает от него глаз.

Дорн. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать.

Треплев. Нет, ничего.

Пауза.

Медведенко. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился?

Дорн. Генуя. Треплев. Почему Генуя?

Дорн. Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Где она и как?

Треплев. Должно быть, здорова.

Дорн. Мне говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?

Треплев. Это, доктор, длинная история.

Дорн. А вы покороче.

Пауза.

Треплев. Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам известно?

Дорн. Знаю.

Треплев. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.

Дорн. А сцена?

Треплев. Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Тогда я не упускал ее из виду и некоторое время куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты.

Дорн. Значит, все-таки есть талант?

Треплев. Понять было трудно. Должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании.

Пауза.

Что же вам еще сказать? Потом я, когда уже вернулся домой, получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные; она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна; что ни строчка, то больной, натянутый нерв. И воображение немного

расстроено. Она подписывалась Чайкой. В "Русалке" Мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка. Теперь она здесь.

Дорн. То есть как, здесь?

Треплев. В городе, на постоялом дворе. Уже дней пять как живет там в номере. Я было поехал к ней, и вот Марья Ильинична ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто вчера после обеда видел ее в поле, в двух верстах отсюда.

Медведенко. Да, я видел. Шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.

Треплев. Не придет она.

Пауза.

Отец и мачеха не хотят ее знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. (Отходит с доктором к письменному столу.) Как легко, доктор, быть философом на бумаге и как это трудно на деле!

Сорин. Прелестная была девушка.

Дорн. Что-с?

Сорин. Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.

Дорн. Старый ловелас.

Слышен смех Шамраева.

Полина Андреевна. Кажется, наши приехали со станции...

Треплев. Да, я слышу маму.

Входят Аркадина, Тригорин, за ними Шамраев.

Шамраев (входя). Мы все стареем, выветриваемся под влиянием стихий, а вы, многоуважаемая, все еще молоды... Светлая кофточка, живость... грация...

Аркадина. Вы опять хотите сглазить меня, скучный человек!

Тригорин (Сорину). Здравствуйте, Петр Николаевич! Что это вы все хвораете? Нехорошо! (Увидев Машу, радостно.) Марья Ильинична!

Маша. Узнали? (Жмет ему руку.)

Тригорин. Замужем?

Маша. Давно.

Тригорин. Счастливы? (Раскланивается с Дорном и с Медведенком, потом нерешительно подходит к Треплеву.) Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.

Треплев протягивает ему руку.

Аркадина (сыну). Вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.

Треплев (принимая книгу, Тригорину). Благодарю вас. Вы очень любезны.

Садятся.

Треплев (принимая книгу, Тригорину). Благодарю вас. Вы очень любезны.

Тригорин. Вам шлют поклон ваши почитатели... В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня все спрашивают про вас. Спрашивают: какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают все почему-то, что вы уже немолоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печаетесь под всевдонимом. Вы таинственны, как Железная Маска.

Треплев. Надолго к нам?

Тригорин. Нет, завтра же думаю в Москву. Надо. Тороплюсь кончить повесть и затем еще обещал дать что-нибудь в сборник. Одним словом - старая история.

Пока они разговаривают, Аркадина и Полина Андреевна ставят среди комнаты ломберный стол и раскрывают его;

Шамраев зажигает свечи, ставит стулья. Достают из шкафа лото.

Погода встретила меня неласково. Ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где - помните? - играли вашу пьесу. У меня созрел мотив, надо только возобновить в памяти место действия.

Маша (отцу). Папа, позволь мужу взять лошадь! Ему нужно домой.

Шамраев (дразнит). Лошадь... домой... (Строго.) Сама видела: сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять.

Маша. Но ведь есть другие лошади... (Видя, что отец молчит, машет рукой.) С вами связываться...

Медведенко. Я, Маша, пешком пойду. Право...

Полина Андреевна (вздыхнув). Пешком, в такую погоду... (Садится за ломберный стол.) Пожалуйте, господа.

Медведенко. Ведь всего только шесть верст... Прощай... (Целует жене руку.) Прощайте, мамаша. (Теща нехотя протягивает ему для поцелуя руку.) Я бы никого не беспокоил, но ребеночек... (Кланяется всем.) Прощайте... (Уходит; походка виноватая.)

Шамраев. Небось дойдет. Не генерал.

Полина Андреевна (стучит по столу). Пожалуйте, господа. Не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут.

Шамраев, Маша и Дорн садятся за стол.

Аркадина (Тригорину). Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните: старинное лото, в которое еще играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина сыграть с нами партию? (Садится с Тригориним за стол.) Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. (Сдает всем по три карты.)

Треплев (перелистывая журнал). Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал. (Кладет журнал на письменный стол, потом направляется к левой двери; проходя мимо матери, целует ее в голову.)

Аркадина. А ты, Костя?

Треплев. Прости, что-то не хочется... Я пройдусь (Уходит.)

Аркадина. Ставка - гривенник. Поставьте за меня, доктор.

Дорн. Слушаю-с.

Маша. Все поставили? Я начинаю... Двадцать два!

Аркадина. Есть.

Маша. Три!..

Дорн. Так-с.

Маша. Поставили три? Восемь! Восемьдесят один! Десять!

Шамраев. Не спеши.

Аркадина. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!

Маша. Тридцать четыре!

За сценой играют меланхолический вальс.

Аркадина. Студенты овацию устроили... Три корзины, два венка и вот... (Снимает с груди брошь и бросает на стол.)

Шамраев. Да, это вещь...

Маша. Пятьдесят!..

Дорн. Ровно пятьдесят?

Аркадина. На мне был удивительный туалет... Что-что, а уж одеться я не дура.

Полина Андреевна. Костя играет. Тоскует, бедный.

Шамраев. В газетах бранят его очень.

Маша. Семьдесят семь!

Аркадина. Охота обращать внимание.

Тригорин. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред. Ни одного живого лица.

Маша. Одиннадцать!

Аркадина (оглянувшись на Сорина). Петруща, тебе скучно?

Пауза.

Спит.

Дорн. Спит действительный статский советник.

Маша. Семь! Девяносто!

Тригорин. Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только и делал бы, что удил рыбу.

Маша. Двадцать восемь!

Тригорин. Поймать ерша или окуня - это такое блаженство!

Дорн. А я верю в Константина Гаврилыча. Что-то есть! Что-то есть! Он мыслит образами, рассказы его красочны, яркие, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?

Аркадина. Представьте, я еще не читала. Все некогда.

Маша. Двадцать шесть!

Треплев тихо входит и идет к своему столу.

Шамраев (Тригорину). А у нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь.

Тригорин. Какая?

Шамраев. Как-то Константин Гаврилыч застрелил чайку, и вы поручил мне заказать из нее чучело.

Тригорин. Не помню. (Раздумывая.) Не помню!

Маша. Шестьдесят шесть! Один!

Треплев (распахивает окно, прислушивается). Как темно! Не понимаю, отчего я испытываю такое беспокойство.

Аркадина. Костя, закрой окно, а то дует.

Треплев закрывает окно.

Маша. Восемьдесят восемь!

Тригорин. У меня партия, господа.

Аркадина (весело). Браво! Браво!

Шамраев. Браво!

Аркадина. Этому человеку всегда и везде везет. (Встает.) А теперь пойдёмте закусить чего-нибудь. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. (Сыну.) Костя, оставь свои рукописи, пойдём есть.

Треплев. Не хочу, мама, я сыт.

Аркадина. Как знаешь. (Будит Сорина.) Петруша, ужинать! (Берет Шамраева под руку.) Я расскажу вам, как меня принимали в Харьковское...

Полина Андреевна тушит на столе свечи, потом она и Дорн катят кресло. Все уходят в левую дверь; на сцене остается один Треплев за письменным столом.

Треплев (собирается писать; пробегает то, что уже написано). Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. (Читает.) "Афиша на заборе гласила... Бледное лицо, обрамленное темными волосами..." Гласила, обрамленное... Это бездарно (Зачеркивает.) Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса - вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно.

Пауза.

Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души.

Кто-то стучит в окно, ближайшее к столу.

Что такое? (Глядит в окно.) Ничего не видно... (Отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад.) Кто-то пробежал вниз по ступеням. (Окликает.) Кто здесь?

Уходит; слышно, как он быстро идет по террасе; через полминуты возвращается с Ниной Заречной.

Нина! Нина!

Нина кладет ему голову на грудь и сдержанно рыдает.

(Растроганный.) Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась ужасно. (Снимает с нее шляпу и тальму.) О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла! Не будем плакать, не будем.

Нина. Здесь есть кто-то.

Треплев. Никого.

Нина. Заприте двери, а то войдут.

Треплев. Никто не войдет.

Нина. Я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте двери...

Треплев (запирает правую дверь на ключ, подходит к левой). Тут нет замка. Я заставлю креслом. (Ставит у двери кресло.) Не бойтесь, никто не войдет.

Нина (пристально глядит ему в лицо). Дайте я посмотрю на вас. (Оглядываясь) Тепло, хорошо... Здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась?

Треплев. Да... Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина, как-то странно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы до сих пор не приходили? Я знаю, вы здесь живете уже почти неделю... Я каждый день ходил к вам по нескольку раз, стоял у вас под окном, как нищий.

Нина. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали! С самого приезда я все ходила тут... около озера. Около вашего дома была много раз и не решалась войти. Давайте сядем.

Садятся.

Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло уютно... Слышите - ветер? У Тургенева есть место: "Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол". Я - чайка... Нет, не то. (Трет себе лоб.) О чем я? Да... Тургенев... "И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам..." Ничего. (Рыдает.)

Треплев. Нина, вы опять... Нина!

Нина. Ничего, мне легче от этого... Я уже два года не плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее на душе. Видите, я уже не плачу. (Берет его за руку.) Итак, вы стали уже писателем... Вы писатель, я - актриса... Попали и мы с вами в круговорот... Жила я радостно, по-детски - проснешься утром и запоешь; любила вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!

Треплев. Зачем в Елец?

Нина. Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать.

Треплев. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, - я страдаю... Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни...

Нина (растерянно). Зачем он так говорит, зачем он так говорит?

Треплев. Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и, что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно. Оставайтесь здесь, Нина, умоляю вас, или позвольте мне уехать с вами!

Нина быстро надевает шляпу и тальму.

Нина, зачем? Бога ради, Нина... (Смотрит, как она одевается; пауза.)

Нина. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду... (Сквозь слезы.) Дайте воды...

Треплев (дает ей напиток). Вы куда теперь?

Нина. В город.

Пауза.

Ирина Николаевна здесь?

Треплев. Да... В четверг дяде было нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.

Нина. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. (Склоняется к столу.) Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! (Поднимает голову.) Я - чайка... Нет, не то. Я - актриса. Ну да! (Услышав смех Аркадиной и Тригорина, прислушивается, потом бежит к левой двери и смотрит в замочную скважину.) И он здесь... (Возвращаясь к Треплеву.) Ну, да... Ничего... Да... Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом... А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького... Я стала мелочной, ничтожной, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я - чайка. Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа. Это не то... (Трет себе лоб.) О чем я?.. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... Я теперь знаю, понимаю. Костя, что в нашем деле - все равно, играем мы на сцене или пишем - главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уметь терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.

Треплев (печально). Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание.

Нина (прислушиваясь). Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь... (Жмет ему руку.) Уже поздно. Я еле на ногах стою... я истощена, мне хочется есть...

Треплев. Оставайтесь, я дам вам поужинать...

Нина. Нет, нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Сюжет для небольшого рассказа... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, - чувства, похожие на нежные, изящные цветы... Помните?.. (Читает.) "Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, - словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах..." (Обнимает порывисто Треплева и убегает в стеклянную дверь.)

Треплев (после паузы). Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму...

В продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи и бросает под стол, потом отпирает правую дверь и уходит.

Дорн (стараясь отворить левую дверь). Странно. Дверь как будто заперта... (Входит и ставит на место кресло.) Скачка с препятствиями.

Входят Аркадина, Полина Андреевна, за ними Яков с бутылками и Маша, потом Шамраев и Тригорин.

Аркадина. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда, на стол. Мы будем играть и пить. Давайте садиться, господа.

Полина Андреевна (Якову). Сейчас же подавай и чай. (Зажигает свечи, садится за ломберный стол.)

Шамраев (подводит Тригорина к шкафу). Вот вещь, о которой я давеча говорил... (Достает из шкафа чучело чайки.) Ваш заказ.

Тригорин (глядя на чайку). Не помню! (Подумав.) Не помню!

Направо за сценой выстрел; все вздрагивают.

Аркадина (испуганно). Что такое?

Дорн. Ничего. Это, должно быть, в моей подходной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. (Уходит в правую сверь, через полминуты возвращается.) Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. (Напевает.) "Я вновь пред тобою стою очарован..."

Аркадина (садясь за стол). Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, как... (Закрывает лицо руками.) Даже в глазах потемнело...

Дорн (перелистывая журнал, Тригорину). Тут месяца два назад была напечатана одна статья... письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим... (берет Тригорина за талию и отводит к рампе) так как я очень интересуюсь этим вопросом... (Тоном ниже, вполголоса.) Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...

З а н а в е с.

Впервые напечатано в журнале "Русская мысль", N12, 1896 г. Первое представление - на сцене Александринского театра - 17 октября 1896 г.

ТРИ СЕСТРЫ

Драма в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Прозоров Андрей Сергеевич.

Наталья Ивановна, его невеста, потом жена.

Ольга, Маша, Ирина:его сестры.

Кульгин Федор Ильич, учитель гимназии, муж Маши.

Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник, батарейный командир.

Тузенбах Николай Львович, барон, поручик.

Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан.
Чебутыкин Иван Романович, военный доктор.
Федотик Алексей Петрович, подпоручик.
Родэ Владимир Карпович, подпоручик.
Ферапонт, сторож из земской управы, старик.
Анфиса, нянька, старуха 80 лет.

Действие происходит в губернском городе.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень; на дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака.

Ольга в синем форменном учительницы женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу; Маша в черном платье, со шляжкой на коленяк сидит и читает книжку, Ирина в белом платье стоит задумавшись.

Ольга. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет. (Часы бьют двенадцать.) И тогда также били часы.

Пауза.

Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег.

Ирина. Зачем вспоминать!

За колоннами, в зале около стола показываются барон Тузенбах, Чебутыкин и Соленый.

Ольга. Сегодня тепло, можно окна держать настежь, а березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы одиннадцать лет назад, и, я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в

моей душе, захотелось на родину страстно.
Чебутыкин. Черта с два!
Тузенбах. Конечно, вздор.

Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню.

Ольга. Не свисти, Маша. Как это ты можешь!

Пауза.

Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта...

Ирина. Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и - в Москву...

Ольга. Да! Скорее в Москву.

Чебутыкин и Тузенбах смеются.

Ирина. Брат, вероятно, будет профессором, он все равно не станет жить здесь. Только вот остановка за бедной Машей.

Ольга. Маша будет приезжать в Москву на все лето, каждый год.

Маша тихо насвистывает песню.

Ирина. Бог даст, все устроится. (Глядя в окно.) Хорошая погода сегодня. Я не знаю, отчего у меня на душе так светло! Сегодня утром вспомнила, что я именинница, и вдруг почувствовала радость, и вспомнила детство, когда еще была жива мама. И какие чудные мысли волновали меня, какие мысли!

Ольга. Сегодня ты вся сияешь, кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. Андрей был бы хорош, только он располнел очень, это к нему не идет. А я постарела, похудела сильно, оттого, должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне двадцать восемь лет, только... Все хорошо, все от бога, но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела дома, то это было бы лучше.

Пауза.

Я бы любила мужа.

Тузенбах (Соленому). Такой вы вздор говорите, надоело вас слушать. (Входя в гостиную.)

Забыл

сказать. Сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин.
(Садится у пианино.)

Ольга. Ну, что ж! Очень рада.

Ирина. Он старый?

Тузенбах. Нет. Ничего. Самое большее, лет сорок, сорок пять. (Тихо наигрывает.) По-
видимому, славный

малый. Неглуп, это - несомненно. Только говорит много.

Ирина. Интересный человек?

Тузенбах. Да, ничего себе, только жена, теща и две девочки. Притом женат во второй раз.
Он делает

визиты и везде говорит, что у него жена и две девочки. И здесь скажет. Жена какая-то
полоумная, с длинной

девической косой, говорит одни высокопарные вещи, философствует и часто покушается
на самоубийство,

очевидно, чтобы насолить мужу. Я бы давно ушел от такой, но он терпит и только
жалуется.

Соленый (входя из залы в гостиную с Чебутыкиным). Одной рукой я поднимаю только
полтора пуда, а

двумя пять, даже шесть пудов. Из этого я заключаю, что два человека сильнее одного не
вдвое, а втрое, даже

больше...

Чебутыкин (читает на ходу газету). При выпадении волос... два золотника нафталина на
полбутылки

спирта... растворить и употреблять ежедневно... (Записывает в книжку.) Запишем-с!
(Соленому.) Так вот, я

говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, и сквозь нее проходит стеклянная
трубочка... Потом вы берете

щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов...

Ирина. Иван Романыч, милый Иван Романыч!

Чебутыкин. Что, девочка моя, радость моя?

Ирина. Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо мной
широкое голубое

небо и носятся большие белые птицы. Отчего это? Отчего?

Чебутыкин (целует ей обе руки, нежно). Птица моя белая...

Ирина. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что
для меня все

ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романыч, я знаю все. Человек
должен трудиться,

работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его
жизни, его счастье,

его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни,
или пастухом, или

учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, не то

что человеком, лучше

быть волком, лучше быть простою лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной,
которая встает в

двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается... о, как это ужасно! В жаркую

погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. И если я не буду рано вставать и трудиться,

то откажите мне в вашей дружбе, Иван Романыч.

Чебутыкин (нежно). Откажу, откажу...

Ольга. Отец приучил нас вставать в семь часов. Теперь Ирина просыпается в семь и по крайней мере до

девяти лежит и о чем-то думает. А лицо серьезное! (Смеется.)

Ирина. Ты привыкла видеть меня девочкой и тебе странно, когда у меня серьезное лицо.

Мне двадцать

лет!

Тузенбах. Тоска по труде, о боже мой, как она мне понятна! Я не работал ни разу в жизни.

Родился я в

Петербурге, холодном и праздном, в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я

приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать

смотрела на меня с благоговением и удивлялась, когда другие на меня смотрели иначе.

Меня оберегали от

труда. Только едва ли удалось оберечь, едва ли! Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится

здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие,

предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25-30 лет работать будет уже

каждый человек. Каждый!

Чебутыкин. Я не буду работать.

Тузенбах. Вы не в счет.

Соленый. Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, слава богу. Года через два-три вы умрете

от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. (Вынимает из кармана флакон с духами и

опрыскивает себе грудь, руки.)

Чебутыкин (смеется). А я в самом деле никогда ничего не делал. Как вышел из университета, так не

ударил пальцем о палец, даже ни одной книжки не прочел, а читал только одни газеты...

(Вынимает из кармана

другую газету.) Вот... Знаю по газетам, что был, положим, Добролюбов, а что он там писал

- не знаю... Бог

его знает...

Слышно, как стучат в пол из нижнего этажа.

Вот... Зовут меня вниз, кто-то ко мне пришел. Сейчас приду... погодите... (Торопливо уходит, расчесывая

бороду.)

Ирина. Это он что-то выдумал.

Тузенбах. Да. Ушел с торжественной физиономией, очевидно, принесет вам сейчас подарок.

Ирина. Как это неприятно!

Ольга. Да, это ужасно. Он всегда делает глупости.

Маша. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... Золотая цепь на дубе том...
(Встает и
напевает тихо.)

Ольга. Ты сегодня невеселая, Маша.

Маша, напевая, надевает шляпу.

Куда ты?

Маша. Домой.

Ирина. Странно...

Тузенбах. Уходить с именин!

Маша. Все равно... Приду вечером. Прощай, моя хорошая... (Целует Ирину.) Желаю тебе еще раз, будь

здоровая, будь счастлива. В прежние времена, когда был жив отец, к нам на именины приходило всякий раз по

тридцать - сорок офицеров, было шумно, а сегодня только полтора человека и тихо, как в пустыне... Я

уйду... Сегодня я в меркхлюндии, невесело мне, и ты не слушай меня. (Смеется сквозь слезы.) После

поговорим, а пока прощай, моя милая, пойду куда-нибудь.

Ирина (недовольная). Ну, какая ты...

Ольга (со слезами). Я понимаю тебя, Маша.

Соленый. Если философствует мужчина, то это будет философистика или там софистика; если же

философствует женщина или два женщины, то уж это будет - потяни меня за палец.

Маша. Что вы хотите этим сказать, ужасно страшный человек?

Соленый. Ничего. Он ахнут не успел, как на него медведь напал.

Пауза.

Маша (Ольге, сердито). Не реви!

Входят Анфиса и Ферапонт с тортом.

Анфиса. Сюда, батюшка мой. Входи, ноги у тебя чистые. (Ирине.) Из земской управы, от Протопопова,

Михаила Ивановича... Пирог.

Ирина. Спасибо. Поблагодари. (Принимает торт.)

Ферапонт. Чего?

Ирина (громче). Поблагодари!

Ольга. Нянечка, дай ему пирога. Ферапонт, иди, там тебе пирога дадут.

Ферапонт. Чего?

Анфиса. Пойдем, батюшка Ферапонт Спиридоныч. Пойдем... (Уходит с Ферапонтом.)

Маша. Не люблю я Протопопова, этого Михаила Потапыча, или Иваныча. Его не следует приглашать.

Ирина. Я не приглашала.

Маша. И прекрасно.

Входит Чебутыкин, за ним солдат с серебряным самоваром; гул изумления и недовольства.

Ольга (закрывает лицо руками). Самовар! Это ужасно! (Уходит в залу к столу.)

Вместе{

Ирина. Голубчик Иван Романыч, что вы делаете!

Тузенбах (смеется). Я говорил вам.

Маша. Иван Романыч, у вас просто стыда нет!

Чебутыкин. Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные, вы для меня самое дорогие, что только есть на свете. Мне скоро шестьдесят, я старик, одинокий, ничтожный старик... Ничего во мне нет хорошего, кроме этой любви к вам, и если бы не вы, то я бы давно уже не жил на свете... (Ирине.) Милая, деточка моя, я знаю вас со дня вашего рождения... носил на руках... я любил покойницу маму... Ирина. Но зачем такие дорогие подарки! Чебутыкин (сквозь слезы, сердито). Дорогие подарки... Ну вас совсем! (Денщику.) Неси самовар туда... (Дразнит.) Дорогие подарки...

Денщик уносит самовар в залу.

Анфиса (проходя через гостиную). Милые, полковник незнакомый! Уж пальто снял, деточки, сюда идет. Аринушка, ты же будь ласковая, нежливенькая... (Уходя.) И завтракать уже давно пора... Господи... Тузенбах. Вершинин, должно быть.

Входит Вершинин.

Подполковник Вершинин!

Вершинин (Маше и Ирине). Честь имею представиться: Вершинин. Очень, очень рад, что, наконец, я у вас. Какие вы стали! Ай! ай! Ирина. Садитесь, пожалуйста. Нам очень приятно. Вершинин (весело). Как я рад, как я рад! Но ведь вас три сестры. Я помню - три девочки. Лиц уж не помню, но что у вашего отца, полковника Прозорова, были три маленьких девочки, я отлично помню и видел собственными глазами. Как идет время! Ой, ой, как идет время!

Тузенбах. Александр Игнатьевич из Москвы.

Ирина. Из Москвы? Вы из Москвы?

Вершинин. Да, оттуда. Ваш покойный отец был там батарейным командиром, а я в той же бригаде

офицером. (Маше.) Вот ваше лицо немножко помню, кажется.

Маша. А я вас - нет!

Ирина. Оля! Оля! (Кричит в залу.) Оля, иди же!

Ольга входит из залы в гостиную.

Подполковник Вершинин, оказывается, из Москвы.

Вершинин. Вы, стало быть, Ольга Сергеевна, старшая... А вы Мария... А вы Ирина - младшая...

Ольга. Вы из Москвы?

Вершинин. Да. Учился в Москве и начал службу в Москве, долго служил там, наконец получил здесь

батарею - перешел сюда, как видите. Я вас не помню собственно, помню только, что вас было три сестры. Ваш отец сохранился у меня в памяти, вот закрою глаза и вижу, как живого. Я у вас бывал в Москве...

Ольга. Мне казалось, я всех помню, и вдруг...

Вершинин. Меня зовут Александром Игнатьевичем...

Ирина. Александр Игнатьевич, вы из Москвы... Вот неожиданность!

Ольга. Ведь мы туда переежаем.

Ирина. Думаем, к осени уже будем там. Наш родной город, мы родились там... На Старой Басманной улице...

Обе смеются от радости.

Маша. Неожиданно земляка увидели. (Живо.) Теперь вспомнила! Помнишь, Оля, у нас говорили:

"влюбленный майор." Вы были тогда поручиком и в кого-то влюблены, и вас все дразнили почему-то майором...

Вершинин (смеется). Вот, вот... Влюбленный майор, это так...

Маша. У вас были тогда только усы... О, как вы постарели! (Сквозь слезы.) Как вы постарели!

Вершинин. Да, когда меня звали влюбленным майором, я был еще молод, был влюблен. Теперь не то.

Ольга. Но у вас еще ни одного седого волоса. Вы постарели, но еще не стары.

Вершинин. Однако уже сорок третий год. Вы давно из Москвы?

Ирина. Одиннадцать лет. Ну, что ты, Маша, плачешь, чудачка... (Сквозь слезы.) И я заплачу...

Маша. Я ничего. А на какой вы улице жили?

Вершинин. На Старой Басманной.

Ольга. И мы там тоже...

Вершинин. Одно время я жил на Немецкой улице. С Немецкой улицы я хаживал в Красные казармы. Там по

пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. Одинокому становится грустно на душе.

Пауза.

А здесь какая широкая, какая богатая река! Чудесная река!

Ольга. Да, но только холодно. Здесь холодно и комары...

Вершинин. Что вы! Здесь такой здоровый, хороший, славянский климат. Лес, река... и здесь тоже

березы. Милые, скромные березы, я люблю их больше всех деревьев. Хорошо здесь жить. Только странно, вокзал

железной дороги в двадцати верстах... И никто не знает, почему это так.

Соленый. А я знаю, почему это так.

Все глядят на него.

Потому что, если бы вокзал был близко, то не был бы далеко, а если он далеко, то, значит, не близко.

Неловкое молчание.

Тузенбах. Шутник, Василий Васильич.

Ольга. Теперь и я вспомнила вас. Помню.

Вершинин. Я вашу матушку знал.

Чебутыкин. Хорошая была, царство ей небесное.

Ирина. Мама в Москве погребена.

Ольга. В Ново-Девичьем...

Маша. Представьте, я уж начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить. Забудут.

Вершинин. Да. Забудут. Такова уж судьба наша, ничего не поделаешь. То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, - придет время, - будет забыто или будет казаться неважным.

Пауза.

И интересно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или, положим, Колумба не казалось в первое время ненужным, смешным, а какой-нибудь пустой вздор, написанный чудаком, не казался истиной? И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной...

Тузенбах. Кто знает? А быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем сколько страданий!

Солёный (тонким голосом). Цып, цып, цып... Барона кашей не корми, а только дай ему пофилософствовать.

Тузенбах. Василий Васильич, прошу вас оставить меня в покое... (Садится на другое место.) Это

скучно, наконец.

Солёный (тонким голосом). Цып, цып, цып...

Тузенбах (Вершинину). Страдания, которые наблюдаются теперь, - их так много! - говорят все-таки об

известном нравственном подъеме, которого уже достигло общество...

Вершинин. Да, да, конечно.

Чебутыкин. Вы только что сказали, барон, нашу жизнь назовут высокой; но люди все же низенькие...

(Встает.) Глядите, какой я низенький. Это для моего утешения надо говорить, что жизнь моя высокая, понятная вещь.

За сценой игра на скрипке.

Маша. Это Андрей играет, наш брат.

Ирина. Он у нас ученый. Должно быть, будет профессором. Папа был военным, а его сын избрал ученую карьеру.

Маша. По желанию папы.

Ольга. Мы сегодня его задрознили. Он, кажется, влюблен немножко.

Ирина. В одну здешнюю барышню. Сегодня она будет у нас, по всей вероятности.

Маша. Ах, как она одевается! Не то чтобы некрасиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная,

яркая, желтоватая юбка с этакой пошленькой бахромой и красная кофточка. И щеки такие вымытые, вымытые!

Андрей не влюблен - я не допускаю, все-таки у него вкус есть, а просто он так, дразнит нас, дурачится. Я

вчера слышала, она выходит за Протопопова, председателя здешней управы. И прекрасно... (В боковую дверь.)

Андрей, поди сюда! Милый, на минутку!

Входит Андрей.

Ольга. Это мой брат, Андрей Сергеич.

Вершинин. Вершинин.

Андрей. Прозоров. (Утирает вспотевшее лицо.) Вы к нам батарейным командиром?

Ольга. Можешь представить, Александр Игнатьич из Москвы.

Андрей. Да? Ну, поздравляю, теперь мои сестрицы не дадут вам покою.

Вершинин. Я уже успел надоесть вашим сестрам.

Ирина. Посмотрите, какую рамочку для портрета подарил мне сегодня Андрей! (Показывает рамочку.) Это

он сам сделал.

Вершинин (глядя на рамочку и не зная, что сказать). Да... вещь...

Ирина. И вот ту рамочку, что над пианино, он тоже сделал.

Андрей машет рукой и отходит.

Ольга. Он у нас и ученый, и на скрипке играет, и выпиливает разные штучки, одним словом, мастер на все руки. Андрей, не уходи! У него манера - всегда уходить. Поди сюда!

Маша и Ирина берут его под руки и со смехом ведут назад.

Маша. Иди, иди!

Андрей. Оставьте, пожалуйста.

Маша. Какой смешной! Александра Игнатьевича называли когда-то влюбленным майором, и он нисколько не сердился.

Вершинин. Нисколько!

Маша. А я хочу тебя назвать: влюбленный скрипач!

Ирина. Или влюбленный профессор!..

Ольга. Он влюблен! Андрюша влюблен!

Ирина (аплодируя). Bravo, bravo! Бис! Андрюшка влюблен!

Чебутыкин (подходит сзади к Андрею и берет его обеими руками за талию). Для любви одной природа нас

на свет произвела! (Хохочет; он все время с газетой.)

Андрей. Ну, довольно, довольно... (Утирает лицо.) Я всю ночь не спал и теперь немножко не в себе,

как говорится. До четырех часов читал, потом лег, но ничего не вышло. Думал о том, о сем, а тут ранний

рассвет, солнце так и лезет в спальню. Хочу за лето, пока буду здесь, перевести одну книжку с английского.

Вершинин. А вы читаете по-английски?

Андрей. Да. Отец, царство ему небесное, угнетал нас воспитанием. Это смешно и глупо, но в этом

все-таки надо сознаться, после его смерти я стал полнеть и вот располнел в один год, точно мое тело

освободилось от гнета. Благодаря отцу я и сестры знаем французский, немецкий и английский языки, а Ирина

знает еще по-итальянский. Но чего это стоило!

Маша. В этом городе знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то ненужный

придаток, вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнего.

Вершинин. Вот-те на! (Смеется.) Знаете много лишнего! Мне кажется, нет и не может быть такого

скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек. Допустим, что среди ста

тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три.

Само собою

разумеется, вам не победить окружающей вас темной массы; в течение вашей жизни мало-помалу вы должны

будете уступить и затеряться в стотысячной толпе, вас заглушит жизнь, но все же вы не исчезнете, не

останетесь без влияния; таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока наконец такие, как вы, не станут большинством. Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней, он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец. (Смеется.) А вы жалуетесь, что знаете много лишнего. Маша (снимает шляпу). Я остаюсь завтракать. Ирина (со вздохом). Право, все это следовало бы записать...

Андрея нет, он незаметно ушел.

Тузенбах. Через много лет, вы говорите, жизнь на земле будет прекрасной, изумительной. Это правда. Но, чтобы участвовать в ней теперь, хотя издали, нужно приготавливаться к ней, нужно работать... Вершинин (встает). Да. Сколько, однако, у вас цветов! (Оглядываясь.) И квартира чудесная. Завидую! А я всю жизнь мою болтался по квартиркам с двумя стульями, с одним диваном и с печами, которые всегда дымят. У меня в жизни не хватало именно вот таких цветов... (Потирает руки.) Эх! Ну, да что! Тузенбах. Да, нужно работать. Вы, небось, думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский и по-немецки даже не говорю. Отец у меня православный...

Пауза.

Вершинин (ходит по сцене). Я часто думаю: что если бы начать жизнь снова, притом сознательно? Если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, как говорится, начерно, другая - начисто! Тогда каждый из нас, я думаю, постарался бы прежде всего не повторять самого себя, по крайней мере создал бы для себя иную обстановку жизни, устроил бы себе такую квартиру с цветами, с массой света... У меня жена, двое девочек, притом жена дама нездоровая и так далее, и так далее, ну, а если бы начинать жизнь сначала, то я не женился бы... Нет, нет!

Входит Кулыгин в форменном фраке.

Кулыгин (подходит к Ирине). Дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела и пожелать искренно, от души, здоровья и всего того, что можно пожелать девушке твоих лет. И позволь

поднести тебе в подарок вот эту книжку. (Подает книжку.) История нашей гимназии за пятьдесят лет,
написанная мною. Пустяшная книжка, написанная от нечего делать, но ты все-таки прочти. Здравствуйте,
господа! (Вершинину.) Кулыгин, учитель здешней гимназии. Надворный советник. (Ирине.) В этой книжке ты
найдешь список всех кончивших курс в нашей гимназии за эти пятьдесят лет. *Feci quod potui, faciant meliora potentes.* (Целует Машу.)
Ирина. Но ведь на Паску ты уже подарил мне такую книжку.
Кулыгин (смеется). Не может быть! В таком случае отдай назад, или вот лучше отдай полковнику.
Возьмите, полковник. Когда-нибудь прочтете от скуки.
Вершинин. Благодарю вас. (Собирается уйти.) Я чрезвычайно рад, что познакомился...
Ольга. Вы уходите? Нет, нет!
Ирина. Вы останетесь у нас завтракать. Пожалуйста.
Ольга. Прошу вас!
Вершинин (кланяется). Я, кажется, попал на именины. Простите, я не знал, не поздравил вас... (Уходит с Ольгой в залу.)
Кулыгин. Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха, будем же отдыхать, будем веселиться каждый
сообразно со своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы...
Персидским порошком или нафталином... Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать,
у них была *mens sana in corpore sano*. Жизнь их текла по известным формам. Наш директор говорит: главное во
всякой жизни - это ее форма... Что теряет свою форму, то кончается - и в нашей обыденной жизни то же
самое. (Берет Машу за талию, смеясь.) Маша меня любит. Моя жена меня любит. И оконные занавески тоже туда
с коврами... Сегодня я весел, в отличном настроении духа. Маша, в четыре часа сегодня мы у директора.
Устраивается прогулка педагогов и их семейств.
Маша. Не пойду я.
Кулыгин (огорченный). Милая Маша, почему?
Маша. После об этом... (Сердито.) Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста... (Отходит.)
Кулыгин. А затем вечер проведем у директора. Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек
старается прежде всего быть общественным. Превосходная, светлая личность. Великолепный человек. Вчера
после совета он мне говорит: "Устал, Федор Ильич! Устал!" (Смотрит на стенные часы, потом на свои.) Ваши
часы спешат на семь минут. Да, говорит, устал!

За сценой игра на скрипке.

Ольга. Господа, милости просим, пожалуйста завтракать! Пирог!
Кулыгин. Ах, милая моя Ольга, милая моя! Я вчера работал с утра до одиннадцати часов вечера, устал и сегодня чувствую себя счастливым. (Уходит в залу к столу.) Милая моя...
Чебутыкин (кладет газету в карман, причесывает бороду). Пирог? Великолепно!
Маша (Чебутыкины строго). Только смотрите: ничего не пить сегодня. Слышите? Вам вредно пить.
Чебутыкин. Эва! У меня уж прошло. Два года, как запоя не было. (Нетерпеливо.) Э, матушка, да не все ли равно!
Маша. Все-таки не смейте пить. Не смейте. (Сердито, но так, чтобы не слышал муж.)
Опять, черт подери, скучать целый вечер у директора!
Тузенбах. Я бы не пошел на вашем месте... Очень просто.
Чебутыкин. Не ходите, дуся моя.
Маша. Да, не ходите... Эта жизнь проклятая, невыносимая... (Идет в залу.)
Чебутыкин (идет к ней). Ну-у!
Соленый (проходя в залу). Цып, цып, цып...
Тузенбах. Довольно, Василий Васильич. Будет!
Соленый. Цып, цып, цып...
Кулыгин (весело). Ваше здоровье, полковник! Я педагог, и здесь в доме свой человек, Машин муж... Она добрая, очень добрая...
Вершинин. Я выпью вот этой темной водки... (Пьет.) Ваше здоровье! (Ольге) Мне у вас так хорошо!..

В гостиной остаются только Ирина и Тузенбах.

Ирина. Маша сегодня не в духе. Она вышла замуж восемнадцати лет, когда он казался ей самым умным человеком. А теперь не то. Он самый добрый, но не самый умный.
Ольга (нетерпеливо). Андрей, иди же наконец!
Андрей (за сценой). Сейчас. (Входит и идет к столу.)
Тузенбах. О чем вы думаете?
Ирина. Так. Я не люблю и боюсь этого вашего Соленого. Он говорит одни глупости...
Тузенбах. Станный он человек. Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мне кажется, он застенчив... Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков, а в обществе он грубый человек, бретер. Не ходите, пусть пока сядут за стол. Дайте мне побыть около вас. О чем вы думаете?

Пауза.

Вам двадцать лет, мне еще нет тридцати. Сколько лет нам осталось впереди, длинный, длинный ряд дней, полных моей любви к вам...

Ирина. Николай Львович, не говорите мне о любви.

Тузенбах (не слушая). У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда, и эта жажда в душе слилась с

любовью к вам, Ирина, и, как нарочно, вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной! О чем вы думаете?

Ирина. Вы говорите: прекрасна жизнь. Да, но если она только кажется такой! У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава... Текут у меня слезы. Это не нужно... (Быстро вытирает лицо, улыбается.) Работать нужно, работать. Оттого нам невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Мы родились от людей, презиравших труд...

Наталья Ивановна входит; она в розовом платье, с зеленым поясом.

Наташа. Там уже завтракать садятся... Я опоздала... (Мельком глядится в зеркало, поправляется.)

Кажется, причесана ничего себе... (Увидев Ирину.) Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас! (Целует крепко и продолжительно.) У вас много гостей, мне, право, совестно... Здравствуйте, барон! Ольга (входя в гостиную). Ну, вот и Наталия Ивановна. Здравствуйте, моя милая!

Целуются.

Наташа. С именинницей. У вас такое большое общество, я смущена ужасно...

Ольга. Полно, у нас все свои. (Вполголоса испуганно.) На вас зеленый пояс! Милая, это не хорошо!

Наташа. Разве есть примета?

Ольга. Нет, просто не идет... и как-то странно...

Наташа (плачущим голосом). Да? Но ведь это не зеленый, а скорее матовый. (Идет за Ольгой в залу.)

В зале садятся завтракать; в гостиной ни души.

Кулыгин. Желаю тебе, Ирина, жениха хорошего. Пора тебе уж выходить.

Чебутыкин. Наталья Ивановна, и вам женишка желаю.

Кулыгин. У Натальи Ивановны уже есть женишок.

Маша (стучит вилкой по тарелке). Выпью рюмочку винца! Эх-ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала!

Кулыгин. Ты ведешь себя на три с минусом.

Вершинин. А наливка вкусная. На чем это настояно?

Соленый. На тараканах.

Ирина (плачущим голосом). Фу! Фу! Какое отвращение!..

Ольга. За ужином будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками. Слава богу, сегодня целый день я

дома, вечером - дома... Господа, вечером приходите.

Вершинин. Позвольте и мне прийти вечером!

Ирина. Пожалуйста.

Наташа. У них попросту.

Чебутыкин. Для любви одной природа нас на свет произвела. (Смеется.)

Андрей (сердито). Перестаньте, господа! Не надоело вам.

Федотик и Родэ входят с большой корзиной цветов.

Федотик. Однако уже завтракают...

Родэ (громко и картавя). Завтракают? Да, уже завтракают...

Федотик. Погоди минутку! (Снимает фотографию.) Раз! Погоди еще немного... (Снимает другую фотографию.) Два! Теперь готово!

Берут корзину и идут в залу, где их встречают с шумом.

Родэ (громко). Поздравляю, желаю всего, всего! Погода сегодня очаровательная, одно великолепиие.

Сегодня все утро гунял с гимназистами. Я преподаю в гимназии гимнастику...

Федотик. Можете двигаться, Ирина Сергеевна, можете! (Снимая фотографию.) Вы сегодня интересны.

(Вынимает из кармана волчок.) Вот, между прочим, волчок... Удивительный звук...

Ирина. Какая прелесть!

Маша. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... Золотая цепь на дубе том...

(Плаксиво.) Ну,

зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра...

Кулыгин. Тринадцать за столом!

Родэ (громко). Господа, неужели вы придаете значение предрассудкам?

Смех.

Кулыгин. Если тринадцать за столом, то, значит, есть тут влюбленные. Уж не вы ли, Иван Романович, чего доброго...

Смех.

Чебутыкин. Я старый грешник, а вот отчего Наталья Ивановна сконфузилась, решительно понять не могу.

Громкий смех; Наташа выбегает из залы в гостиную, за ней Андрей.

Андрей. Полно, не обращайтесь внимания! Погодите... прошу вас...

Наташа. Мне стыдно... Я не знаю, что со мной делается, а они поднимают меня на смех.

То, что я

сейчас вышла из-за стола, неприлично, но я не могу... не могу... (Закрывает лицо руками.)

Андрей. Дорогая моя, прошу вас, умоляю, не волнуйтесь. Уверю вас, они шутят, они от доброго сердца.

Дорогая моя, моя хорошая, они все добрые, сердечные люди и любят меня и вас. Идите сюда к окну, нас здесь

не видно им...(Оглядывается.)

Наташа. Я так не привыкла бывать в обществе...

Андрей. О молодость, чудная, прекрасная молодость! Моя дорогая, моя хорошая, не волнуйтесь так!..

Верьте мне, верьте... Мне так хорошо, душа полна любви, восторга... О, нас не видят! Не видят! За что, за

что я полюбил вас, когда полюбил, - о, ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой!

Я вас люблю, люблю... как никого никогда...

Поцелуй.

Два офицера входят и, увидев целующуюся пару, останавливаются в изумлении.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Декорация первого акта.

Восемь часов вечера. За сценой на улице едва слышно играют на гармонике. Нет огня.

Входит Наталья Ивановна в капоте, со свечой: она идет и останавливается у двери, которая ведет в комнату

Андрея.

Наташа. Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь? Ничего, я так только... (Идет, открывает другую дверь и,

заглянув в нее, затворяет.) Огня нет ли...

Андрей (входит с книгой в руке). Ты что, Наташа?

Наташа. Смотрю, огня нет ли... Теперь масленица, прислуга сама не своя, гляди да и гляди, чтоб чего

не вышло. Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит. Кто зажег, так и не добилась толку.

(Ставит свечу.) Который час?

Андрей (взглянув на часы). Девятого четверть.

Наташа. А Ольги и Ирины до сих пор еще нет. Не пришли. Все трудятся, бедняжки. Ольга на

педагогическом совете, Ирина на телеграфе... (Вздыхает.) Сегодня утром говорю твоей сестре: "Побереги,

говорю, себя, Ирина, голубчик ". И не слушает. Четверть девятого, говоришь? Я боюсь, Бобик наш совсем

нездоров. Отчего он холодный такой? Вчера у него был жар, а сегодня холодный весь... Я так боюсь!

Андрей. Ничего, Наташа. Мальчик здоров.

Наташа. Но все-таки лучше пускай диэта. Я боюсь. И сегодня в десятом часу, говорили, ряженые у нас

будут, лучше бы они не приходили, Андрюша.

Андрей. Право, я не знаю. Их ведь звали.

Наташа. Сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня, и вдруг улыбнулся; значит, узнал.

"Бобик, говорю, здравствуй! Здравствуй, милый!" А он смеется. Дети понимают, отлично понимают. Так,

значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженных не принимали.

Андрей (нерешительно). Да ведь это как сестры. Они тут хозяйки.

Наташа. И они тоже, я им скажу. Они добрые... (Идет.) К ужину я велела простокваши.

Доктор говорит,

тебе нужно одну простоквашу есть, иначе не похудеешь. (Останавливается.) Бобик

холодный. Я боюсь, ему

холодно в его комнате, пожалуй. Надо бы хоть до теплой погоды поместить его в другой комнате. Например, у

Ирины комната как раз для ребенка: и сухо, и целый день солнце. Надо ей сказать, она пока может с Ольгой в

одной комнате... Все равно днем дома не бывает, только ночует...

Пауза.

Андрюшанчик, отчего ты молчишь?

Андрей. Так, задумался... Да и нечего говорить...

Наташа. Да... Что-то я хотела тебе сказать... Ах, да. Там из управы Ферапонт пришел, тебя спрашивает.

Андрей (зевает). Позови его.

Наташа уходит; Андрей, нагнувшись к забытой ею свече, читает книгу. Входит Ферапонт; он в старом трепаном пальто, с поднятым воротником, уши повязаны.

Здравствуй, душа моя. Что скажешь?

Ферапонт. Председатель прислал книжку и бумагу какую-то. Вот... (Подает книгу и пакет.)

Андрей. Спасибо. Хорошо. Отчего же ты пришел так не рано? Ведь девятый час уже.

Ферапонт. Чего?

Андрей (громче). Я говорю, поздно пришел, уже девятый час.

Ферапонт. Так точно. Я пришел к вам, еще светло было, да не пускали всл. Барин, говорят, занят. Ну,

что ж. Занят так занят, спешить мне некуда. (Думая, что Андрей спрашивает его о чем-то.) Чего?

Андрей. Ничего. (Рассматривая книгу.) Завтра пятница, у нас нет присутствия, но я все равно приду...

займусь. Дома скучно...

Пауза.

Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь! Сегодня от скуки, от нечего делать, я взял в руки

вот эту книгу - старые университетские лекции, и мне стало смешно... Боже мой, я секретарь земской управы,

той управы, где председательствует Протопопов, я секретарь, и самое большое, на что я могу надеяться, это

- быть членом земской управы! Мне быть членом здешней земской управы, мне, которому снится каждую ночь, что я профессор московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля!

Ферапонт. Не могу знать... Слышу-то плохо...

Андрей. Если бы ты слышал как следует, то я, быть может, и не говорил бы с тобой. Мне нужно говорить

с кем-нибудь, а жена меня не понимает, сестер я боюсь почему-то, боюсь, что они засмеют меня, застыдят...

Я не пью, трактиров не люблю, но с каким удовольствием я посидел бы теперь в Москве у Тестова или в

Большом Московском, голубчик мой.

Ферапонт. А в Москве, в управе давеча рассказывал подрядчик, какие-то купцы ели блины; один, который

съел сорок блинов, будто помер. Не то сорок, не то пятьдесят. Не упомню.

Андрей. Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана, никого не знаешь и тебя никто не знает, и в то

же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты всех знаешь и тебя все знают, но чужой, чужой... Чужой и

одинокий.

Ферапонт. Чего?

Пауза.

И тот же подрядчик сказывал - может, и врет, - будто поперек всей Москвы канат протянут.

Андрей. Для чего?

Ферапонт. Не могу знать. Подрядчик говорил.

Андрей. Чепуха. (Читает книгу.) Ты был когда-нибудь в Москве?

Ферапонт (после паузы). Не был. Не привел бог.

Пауза.

Мне идти?

Андрей. Можешь идти. Будь здоров.

Ферапонт уходит.

Будь здоров. (Читая.) Завтра утром придешь, возьмешь тут бумаги... Ступай...

Пауза.

Он ушел.

Звонок.

Да, дела... (Потягивается и не спеша уходит к себе.)

За сценой поет нянька, укачивая ребенка. Входят Маша и Вершинин. Пока они потом беседуют, горничная зажигает лампу и свечи.

Маша. Не знаю.

Пауза.

Не знаю. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, говорит во мне просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди - это военные.

Вершинин. Мне пить хочется. Я бы выпил чаю.

Маша (взглянув на часы). Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было восемнадцать лет, и я своего мужа боялась, потому что он был учителем, а я тогда едва кончила курс. Он казался мне тогда ужасно ученым, умным и важным. А теперь уж не то, к сожалению.

Вершинин. Так... да.

Маша. Про мужа я не говорю, к нему я привыкла, но между штатскими вообще так много людей грубых, не любезных, не воспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость, я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю.

Вершинин. Да-с... Но мне кажется, все равно, что штатский, что военный, одинакова, неинтересно, по крайней мере, в этом городе. Все равно! Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с мнением замучился, с лошадьми замучился... Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко?

Почему?

Маша. Почему?

Вершинин. Почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились?

Маша. Вы сегодня немножко не в духе.

Вершинин. Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко, а когда

болеют мои девочки, то мною овладевает тревога, меня мучает совесть за то, что у них такая мать. О, если бы вы видели ее сегодня! Что за ничтожество! Мы начали браниться с семи часов утра, а в девять я хлопнул дверь и ушел.

Пауза.

Я никогда не говорю об этом, и странно, жалею только вам одной. (Целует руку.) Не сердитесь на меня. Кроме вас одной, у меня нет никого, никого...

Пауза.

Маша. Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так. Вершинин. Вы с предрассудками?

Маша. Да.

Вершинин. Странно это. (Целует руку.) Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная! Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз.

Маша (садится на другой стул). Здесь светлей...

Вершинин. Я люблю, люблю, люблю... Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся...

Великолепная, чудная женщина!

Маша (тихо смеясь). Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас... (Вполголоса.) А впрочем, говорите, мне все равно... (Закрывает лицо руками.) Мне все равно. Сюда идут, говорите о чем-нибудь другом...

Ирина и Тузенбах входят через залу.

Тузенбах. У меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах-Кроне-Альтшауер, но я русский, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало, разве только терпеливость, упрямство, с каким я надоедаю вам. Я провожаю вас каждый вечер.

Ирина. Как я устала!

Тузенбах. И каждый вечер буду приходить на телеграф и провожать вас домой, буду десять - двадцать лет, пока вы не прогоните... (Увидев Машу и Вершинина, радостно.) Это вы? Здравствуйте.

Ирина. Вот я и дома, наконец. (Маше.) Сейчас приходит одна дама, телеграфирует своему брату в

Саратов, что у ней сегодня сын умер, и никак не может вспомнить адреса. Так и послала без адреса, просто в

Саратов. Плачет. И я ей нагрубила ни с того ни с сего. "Мне, говорю, некогда". Так глупо вышло. Сегодня у нас ряженые?

Маша. Да.

Ирина (садится в кресло). Отдохнуть. Устала.

Тузенбах (с улыбкой). Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой маленькой, несчастненькой...

Пауза.

Ирина. Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю.

Маша. Ты похудела... (Насвистывает.) И помолодела, и на мальчишку стала похожа лицом.

Тузенбах. Это от прически.

Ирина. Надо поискать другую должность, а эта не по мне. Чего я так хотела, о чем мечтала, того-то в

ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей... Доктор стучит. (Тузенбаху.) Милый, постучите. Я не могу... устала...

Тузенбах стучит в пол.

Сейчас придет. Надо бы принять какие-нибудь меры. Вчера доктор и наш Андрей были в клубе и опять проигрались. Говорят, Андрей двести рублей проиграл.

Маша (равнодушно). Что ж теперь делать!

Ирина. Две недели назад проиграл, в декабре проиграл. Скорее бы вс! проиграл, быть может, уехали бы

из этого города. Господи боже мой, мне Москва снится каждую ночь, я совсем как помешанная. (Смеется.) Мы

переезжаем туда в июне, а до июня осталось еще... февраль, март, апрель, май... почти полгода!

Маша. Надо только, чтобы Наташа не узнала как-нибудь о проигрыше.

Ирина. Ей, я думаю, все равно.

Чебутыкин, только что вставший с постели, - он отдыхал после обеда, - входит в залу и причесывает бороду, потом садится там за стол и вынимает из кармана газету.

Маша. Вот пришел... Он заплатил за квартиру?

Ирина (смеется). Нет. За восемь месяцев ни копейки. Очевидно, забыл.

Маша (смеется). Как он важно сидит!

Все смеются; пауза.

Ирина. Что вы молчите, Александр Игнатьич?

Вершинин. Не знаю. Чаю хочется. Полжизни за стакан чаю! С утра ничего не ел...

Чебутыкин. Ирина Сергеевна!

Ирина. Что вам!

Чебутыкин. Пожалуйста сюда. Venez ici.

Ирина идет и садится за стол.

Я без вас не могу.

Ирина раскладывает пасьянс.

Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем.

Тузенбах. Давайте. О чем?

Вершинин. О чем? Давайте помечтаем... например, о той жизни, которая будет после нас, лет через двести - триста.

Тузенбах. Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И

через тысячу лет человек будет так же вздыхать: "ах, тяжело жить!" - и вместе с тем точно как же, как

теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.

Вершинин (подумав). Как вам сказать? Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу и уже

меняется на наших глазах. Через двести - триста, наконец, тысячу лет, - дело не в сроке, - настанет новая,

счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну,

страдаем, мы творим ее - и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье.

Маша тихо смеется.

Тузенбах. Что вы?

Маша. Не знаю. Сегодня весь день смеюсь с утра.

Вершинин. Я кончил там же, где и вы, в академии я не был; читаю я много, но выбирать книг не умею и

читаю, быть может, совсем не то, что нужно, а между тем, чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои

волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало, ах, как мало! Но все же, мне кажется, самое главное и

настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не

будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье - это удел наших далеких потомков.

Пауза.

Не я, то хоть потомки потомков моих.

Федотик и Родэ показываются в зале; они садятся и напевают тихо, наигрывая на гитаре.

Тузенбах. По-вашему, даже не мечтать о счастье! Но если я счастлив!

Вершинин. Нет.

Тузенбах (всплеснув руками и смеясь). Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас?

Маша тихо смеется.

(Показывая ей палец.) Смейтесь! (Вершинину.) Не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такую же, как и была; она не меняется, остается постоянною, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят, и какие бы мысли, высокие или малые, ни бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завелись среди них; и пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели...

Маша. Все-таки смысл?

Тузенбах. Смысль... Вот снег идет. Какой смысл?

Пауза.

Маша. Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети рождаются, для чего звезды на небе... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава.

Пауза.

Вершинин. Все-таки жалко, что молодость прошла...

Маша. У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа!

Тузенбах. А я скажу: трудно с вами спорить, господа! Ну вас совсем...

Чебутыкин (читая газету). Бальзак венчался в Бердичеве.

Ирина напевает тихо.

Даже запишу себе это в книжку. (Записывает.) Бальзак венчался в Бердичеве. (Читает газету.)

Ирина (раскладывает пасьянс, задумчиво). Бальзак венчался в Бердичеве.

Тузенбах. Жребий брошен. Вы знаете, Мария Сергеевна, я подаю в отставку.

Маша. Слышала. И ничего я не вижу в этом хорошего. Не люблю я штатских.

Тузенбах. Все равно... (Встает.) Я не красив, какой я военный? Ну, да все равно, впрочем...

Буду

работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером домой, в утомлении повалиться в

постель и уснуть тотчас же. (Уходя в залу.) Рабочие, должно быть, спят крепко!

Федотик (Ирине). Сейчас на Московской у Пыжикова купил для вас цветных карандашей.
И вот этот
ножичек...

Ирина. Вы привыкли обращаться со мной, как с маленькой, но ведь я уже выросла...

(Берет карандаши и
ножичек, радостно.) Какая прелесть!

Федотик. А для себя я купил ножик... вот поглядите... нож, еще другой нож, третий, это в
ушах

ковырять, это ножнички, это ногти чистить...

Родэ (громко). Доктор, сколько вам лет?

Чебутыкин. Мне? Тридцать два.

Смех.

Федотик. Я сейчас покажу вам другой пасьянс... (Раскладывает пасьянс.)

Подают самовар; Анфиса около самовара; немного погодя приходит Наташа и тоже
суетится около стола;
приходит Соленый и, поздоровавшись, садится за стол.

Вершинин. Однако, какой ветер!

Маша. Да. Надоела зима. Я уже и забыла, какое лето.

Ирина. Выйдет пасьянс, я вижу. Будем в Москве.

Федотик. Нет, не выйдет. Видите, осьмерка легла на двойку пик. (Смеется.) Значит, вы не
будете в
Москве.

Чебутыкин (читает газету). Цицикар. Здесь свирепствует оспа.

Анфиса (подходя к Маше). Маша, чай кушать, матушка. (Вершинину.) Пожалуйте, ваше
высокоблагородие...

простите, батюшка, забыла имя, отчество...

Маша. Принеси сюда, няня. Туда не пойду.

Ирина. Няня!

Анфиса. Иду-у!

Наташа (Соленому). Грудные дети прекрасно понимают. "Здравствуй, говорю, Бобик.
Здравствуй, милый! "

Он взглянул на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать, но нет,
нет, уверяю вас! Это
необыкновенный ребенок.

Соленый. Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы.
(Идет со

стаканом в гостиную и садится в угол.)

Наташа (закрыв лицо руками). Грубый, невоспитанный человек!

Маша. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была
в Москве, то
относилась бы равнодушно к погоде...

Вершинин. На днях я читал дневник одного французского министра, писанный в тюрьме.
Министр был

осужден за Панаму. С каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видит
в тюремном окне и

которых не замечал раньше, когда был министром. Теперь, конечно, когда он выпущен на свободу, он уже

по-прежнему не замечает птиц. Так же и вы не будете замечать Москвы, когда будете жить в ней. Счастья у

нас нет и не бывает, мы только желаем его.

Тузенбах (берет со стола коробку). Где же конфеты?

Ирина. Соленый съел.

Тузенбах. Все?

Анфиса (подавая чай). Вам письмо, батюшка.

Вершинин. Мне? (Берет письмо.) От дочери. (Читает.) Да, конечно... Я, извините, Мария Сергеевна,

уйду потихоньку. Чаю не буду пить. (Встает взволнованный.) Вечно эти истории...

Маша. Что такое? Не секрет?

Вершинин (тихо). Жена опять отравилась. Надо идти. Я пройду незаметно. Ужасно неприятно все это.

(Целует Маше руку.) Милая моя, славная, хорошая женщина... Я здесь пройду потихоньку... (Уходит.)

Анфиса. Куда же он? А я чай подала... Экой какой.

Маша (рассердившись). Отстань! Пристаешь тут, покоя от тебя нет... (Идет с чашкой к столу.) Надоела

ты мне, старая!

Анфиса. Что ж ты обижаешься? Милая!

Голос Андрея. Анфиса!

Анфиса (дразнит). Анфиса! Сидит там... (Уходит.)

Маша (в зале у стола, сердито). Дайте же мне сесть! (Мешает на столе карты.) Расселись тут с

картами. Пейте чай!

Ирина. Ты, Машка, злая.

Маша. Раз я злая, не говорите со мной. Не трогайте меня!

Чебутыкин (смеясь). Не трогайте ее, не трогайте...

Маша. Вам шестьдесят лет, а вы, как мальчишка, всегда городите черт знает что.

Наташа (вздыхает). Милая Маша, к чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной

наружности в приличном светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не

эти твои слова. Je vous prie, pardonnez moi, Marie, mais vous avez des manieres un peu grossieres.

Тузенбах (сдерживая смех). Дайте мне... дайте мне... Там, кажется, коньяк...

Наташа. Il paraît, que mon Бобик déjà ne dort pas, проснулся. Он у меня сегодня нездоров. Я пойду к

нему, простите... (Уходит.)

Ирина. А куда ушел Александр Игнатьич?

Маша. Домой. У него опять с женой что-то необычайное.

Тузенбах (идет к Соленому, в руках графинчик с коньяком). Все вы сидите один, о чем-то думаете - и

не поймешь, о чем. Ну, давайте мириться. Давайте выпьем коньяку.

Пьют.

Сегодня мне придется играть на пианино всю ночь, вероятно, играть всякий вздор... Куда ни шло!

Соленый. Почему мириться? Я с вами не ссорился.

Тузенбах. Всегда вы возбуждаете такое чувство, как будто между нами что-то произошло. У вас характер странный, надо сознаться.

Соленый (декларируя). Я странен, не странен кто ж! Не сердись, Алеко!

Тузенбах. И при чем тут Алеко...

Пауза.

Соленый. Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего, я как все, но в обществе я уныл, застенчив и...

говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее очень, очень многих. И могу это доказать.

Тузенбах. Я часто сержусь на вас, вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе, но

все же вы мне симпатичны почему-то. Куда ни шло, напьюсь сегодня. Выпьем!

Соленый. Выпьем.

Пьют.

Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. (Тихо.) Я даже немножко похож на Лермонтова... как говорят... (Достает из кармана флакон с духами и льет на руки.)

Тузенбах. Подаю в отставку. Баста! Пять лет все раздумывал и, наконец, решил. Буду работать.

Соленый (декларируя). Не сердись, Алеко... Забудь, забудь мечтания свои...

Пока они говорят, Андрей входит с книгой тихо и садится у свечи.

Тузенбах. Буду работать.

Чебутыкин (идя в гостиную с Ириной). И угощение было тоже настоящее кавказское: суп с луком, а на

жаркое - чехартма, мясное.

Соленый. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука.

Чебутыкин. Нет-с, ангел мой. Чехартма не лук, а жаркое из баранины.

Соленый. А я вам говорю, черемша - лук.

Чебутыкин. А я вам говорю, чехартма - баранина.

Соленый. А я вам говорю, черемша - лук.

Чебутыкин. Что же я буду с вами спорить! Вы никогда не были на Кавказе и не ели чехартмы.

Соленый. Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока.

Андрей (умоляюще). Довольно, господа! Прошу вас!

Тузенбах. Когда придут ряженные?

Ирина. Обещали к девяти; значит, сейчас.

Тузенбах (обнимает Андрея). Ах вы сени, мои сени, сени новые мои...

Андрей (пляшет и поет). Сени новые, кленовые...
Чебутыкин (пляшет). Решетчаты-е!

Смех.

Тузенбах (целует Андрея). Черт возьми, давайте выпьем. Андрюша, давайте выпьем на ты. И я с тобой,
Андрюша, в Москву, в университет.
Соленый. В какой? В Москве два университета.
Андрей. В Москве один университет.
Соленый. А я вам говорю - два.
Андрей. Пускай хоть три. Тем лучше.
Соленый. В Москве два университета!

Ропот и шиканье.

В Москве два университета: старый и новый. А если вам неуютно слушать, если мои слова раздражают вас, то я могу не говорить. Я даже могу уйти в другую комнату... (Уходит в одну из дверей.)

Тузенбах. Bravo, bravo! (Смеется.) Господа, начинайте, я сажусь играть! Смешной этот Соленый...
(Садится за пианино, играет вальс.)
Маша (танцует вальс одна). Барон пьян, барон пьян, барон пьян!

Входит Наташа.

Наташа (Чебутыкину). Иван Романыч! (Говорит о чем-то Чебутыкину, потом тихо уходит.)

Чебутыкин трогает Тузенбаха за плечо и шепчет ему о чем-то.

Ирина. Что такое?

Чебутыкин. Нам пора уходить. Будьте здоровы.

Тузенбах. Спокойной ночи. Пора уходить.

Ирина. Позвольте... А ряженные?..

Андрей (сконфуженный). Ряженных не будет. Видишь ли, моя милая, Наташа говорит, что Бобик не совсем здоров, и потому... Одним словом, я не знаю, мне решительно все равно.

Ирина (пожимая плечами). Бобик нездоров!

Маша. Где наша не пропадала! Гонят, стало быть, надо уходить. (Ирине.) Не Бобик болен, а она сама...

Вот! (Стучит пальцем по лбу.) Мещанка!

Андрей уходит в правую дверь к себе, Чебутыкин идет за ним; в зале прощаются.

Федотик. Какая жалость! Я рассчитывал провести вечерок, но если болен ребеночек, то конечно... Я завтра принесу ему игрушечку...

Родэ (громко). Я сегодня нарочно выспался после обеда, думал, что всю ночь буду танцевать. Ведь теперь только девять часов!
Маша. Выйдем на улицу, там потолкуем. Решим, что и как.

Слышно: "Прощайте! Будьте здоровы!" Слышен веселый смех Тузенбаха. Все уходят. Анфиса и горничная убирают со стола, тушат огни. Слышно, как поет нянька. Андрей в пальто и шляпе и Чебутыкин тихо входят.

Чебутыкин. Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула, как молния, да и потому, что безумно любил твою матушку, которая была замужем...

Андрей. Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно.

Чебутыкин. Так-то оно так, да одиночество. Как там ни философствуй, а одиночество сташная штука,

голубчик мой... Хотя в сущности... конечно, решительно все равно!

Андрей. Пойдемте скорей.

Чебутыкин. Что же спешить? Успеем.

Андрей. Я боюсь, жена бы не остановила.

Чебутыкин. А!

Андрей. Сегодня я играть не стану, только так посижу. Нездоровится... Что мне делать, Иван Романыч, от одышки?

Чебутыкин. Что спрашивать! Не помню, голубчик. Не знаю.

Андрей. Пройдем кухней.

Уходят.

Звонок, потом опять звонок; слышны голоса, смех.

Ирина (входит). Что там?

Анфиса (шепотом). Ряженые!

Звонок.

Ирина. Скажи, нянечка, дома нет никого. Пусть извинят.

Анфиса уходит. Ирина в раздумье ходит по комнате; она взволнована. Входит Соленый.

Соленый (в недоумении). Никого нет... А где же все?

Ирина. Ушли домой.

Соленый. Странно. Вы одни тут?

Ирина. Одна.

Пауза.

Прощайте.

Соленый. Давеча я вел себя недостаточно сдержанно, нетактично. Но вы не такая, как все, вы высоки и чисты, вам видна правда...Вы одна, только вы одна можете понять меня. Я люблю, глубоко, бесконечно люблю...

Ирина. Прощайте! Уходите.

Соленый. Я не могу жить без вас. (Идя за ней.) О, мое блаженство! (Сквозь слезы.) О, счастье!

Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины...

Ирина (холодно). Перестаньте, Василий Васильич!

Соленый. Первый раз я говорю о любви к вам, и точно я не на земле, а на другой планете. (Трет себе

лоб.) Ну, да все равно. Насильно мил не будешь, конечно... Но счастливых соперников у меня не должно

быть... Не должно... Клянусь вам всем святым, соперника я убью... О, чудная!

Наташа проходит со свечой.

Наташа (заглядывает в одну дверь, в другую и проходит мимо двери, ведущей в комнату мужа). Тут

Андрей. Пусть читает. Вы простите, Василий Васильич, я не знала, что вы здесь, я по-домашнему.

Соленый. Мне все равно. Прощайте! (Уходит.)

Наташа. А ты устала, милая, бедная моя девочка! (Целует Ирину.) Ложилась бы спать пораньше.

Ирина. Бобик спит?

Наташа. Спит. Но беспокойно спит. Кстати, милая, я хотела тебе сказать, да все то тебя нет, то мне

некогда... Бобику в теперешней детской, мне кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для

ребенка. Милая, родная, переберись пока к Оле!

Ирина (не понимая). Куда?

Слышно, к дому подъезжает тройка с бубенчуками.

Наташа. Ты с Олей будешь в одной комнате, пока что, а твою комнату Бобику. Он такой милашка, сегодня

я говорю ему: "Бобик, ты мой! Мой!" А он на меня смотрит своими глазеночками.

Звонок.

Должно быть, Ольга. Как она поздно!

Горничная подходит к Наташе и шепчет ей на ухо.

Протопопов? Какой чудак. Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на тройке. (Смеется.) Какие

странные эти мужчины...

Звонок.

Кто-то там пришел. Поехать разве на четверть часика прокатиться... (Горничной.) Скажи, сейчас.

Звонок.

Звонят... там Ольга, должно быть. (Уходит.)

Горничная убегает: Ирина сидит задумавшись; входят Кулыгин, Ольга, за ними Вершинин.

Кулыгин. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер.

Вершинин. Странно, я ушел недавно, полчаса назад, и ждали ряженных...

Ирина. Все ушли.

Кулыгин. И Маша ушла? Куда она ушла? А зачем Протопопов внизу ждет на тройке? Кого он ждет?

Ирина. Не задавайте вопросов... Я устала.

Кулыгин. Ну, капризница...

Ольга. Совет только что кончился. Я замучилась. Наша начальница больна, теперь я вместо нее. Голова, голова болит, голова... (Садится.) Андрей проиграл вчера в карты двести рублей... Весь город говорит об этом...

Кулыгин. Да, и я устал на совете. (Садится.)

Вершинин. Жена моя сейчас вздумала поугубить меня, едва не отравилась. Все обошлось, и я рад, отдыхаю

теперь... Стало быть, надо уходить? Что ж, позвольте пожелать всего хорошего. Федор Ильич, поедemте со

мною куда-нибудь! Я дома не могу оставаться, совсем не могу... Поедемте!

Кулыгин. Устал. Не поеду. (Встает.) Устал. Жена домой пошла?

Ирина. Должно быть.

Кулыгин (целует Ирине руку). Прощай. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего!

(Идет.) Чаю очень хочется. Рассчитывал провести вечер в приятном обществе и - о, fallacem hominum sperem!..

Винительный падеж при восклицании...

Вершинин. Значит, один поеду. (Уходит с Кулыгиным, посвистывая.)

Ольга. Голова болит, голова... Андрей проиграл... весь город говорит... Пойду лягу. (Идет.) Завтра я

свободна... О, боже мой, как это приятно! Завтра свободна, послезавтра свободна...

Голова болит, голова...

(Уходит.)

Ирина(одна). Все ушли. Никого нет.

На улице гармоника, нянька поет песню.

Наташа (в шубе и шапке идет через залу; за ней горничная). Через полчаса я буду дома.

Только

проедусь немножко. (Уходит.)

Ирина (оставшись одна, тоскует). В Москву! В Москву! В Москву!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната Ольги и Ирины. Налево и направо постели, загороженные ширмами. Третий час ночи. За сценой бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме еще не ложились спать. На диване лежит Маша, одетая, как обыкновенно, в черное платье.

Входит Ольга и Анфиса.

Анфиса. Сидят теперь внизу под лестницей... А говорю - "пожалуйста наверх, нешто, говорю, можно так", - плачут. "Папаша, говорят, не знаем где. Не дай бог, говорят, сгорел". Выдумали! И на дворе какие-то... тоже раздетые. Ольга (вынимает из шкапа платье). Вот это серенькое возьми... И вот это... Кофточку тоже... И эту юбку бери, нянечка... Что же это такое, боже мой! Кирсановский переулок сгорел весь, очевидно... Это возьми... Это возьми... (Кидает ей на руки платье). Вершинины бедные напугались... Их дом едва не сгорел. Пусть у нас переночуют... домой их нельзя пускать... У бедного Федотика все сгорело, ничего не осталось... Анфиса. Ферапонта позвала бы, Олюшка, а то не донесу... Ольга (звонит). Не дозвонишься... (В дверь.) Подите сюда, кто там есть!

В открытую дверь видно окно, красное от зарева; слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда.

Какой это ужас. И как надоело!

Входит Ферапонт.

Вот возьми снеси вниз... Там под лестницей стоят барышни Колотилины... отдай им. И это отдай...

Ферапонт. Слушаю. В двенадцатом году Москва тоже горела. Господи ты боже мой! Французы удивлялись.

Ольга. Иди, ступай...

Ферапонт. Слушаю. (Уходит.)

Ольга. Нянечка, милая, вс! отдай. Ничего нам не надо, вс! отдай, нянечка... Я устала, едва на ногах стою... Вершининых нельзя отпускать домой... Девочки лягут в гостиной, Александра Игнатъича вниз к

барону... Федотика тоже к барону, или пусть у нас в зале... Доктор, как нарочно, пьян, ужасно пьян, и к нему никого нельзя. И жену Вершинина тоже в гостиной. Анфиса (утомленно). Олюшка милая, не гони ты меня! Не гони! Ольга. Глупости ты говоришь, няня. Никто тебя не гонит. Анфиса (кладет ей голову на грудь). Родная моя, золотая моя, я тружусь, я работаю... Слаба стану, все скажут: пошла! А куда я пойду? Куда? Восемьдесят лет. Восемьдесят второй год... Ольга. Ты посиди, нянечка... Устала ты, бедная... (Усаживает ее.) Отдохни, моя хорошая. Побледнела как!

Наташа входит.

Наташа. Там говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж? Прекрасная мысль. Вообще нужно помогать бедным людям, это обязанность богатых. Бобик и Софочка спят себе, спят, как ни в чем не бывало. У нас так много народу везде, куда ни пойдешь, полон дом. Теперь в городе инфлюэнца, боюсь, как бы не захватили дети. Ольга (не слушая ее). В этой комнате не видно пожара, тут покойно... Наташа. Да... Я, должно быть, растрепанная. (Перед зеркалом.) Говорят, я пополнела... и не правда! Ничуть! А Маша спит, утомилась, бедная... (Анфисе холодно.) При мне не смей сидеть! Встань! Ступай отсюда!

Анфиса уходит; пауза.

И зачем ты держишь эту старуху, не понимаю!

Ольга (оторопев). Извини, я тоже не понимаю...

Наташа. Ни к чему она тут. Она крестьянка, должна в деревне жить... Что за баловство! Я люблю в доме порядок! Лишних не должно быть в доме. (Гладит ее по щеке.) Ты, бедняжка, устала! Устала наша начальница! А когда моя Софочка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться. Ольга. Не буду я начальницей. Наташа. Тебя выберут, Олечка. Это решено. Ольга. Я откажусь. Не могу... Это мне не по силам... (Пьет воду.) Ты сейчас так грубо обошлась с няней... Прости, я не в состоянии переносить... даже в глазах потемнело... Наташа (взволнованно). Прости, Оля, прости... Я не хотела тебя огорчать.

Маша встает, берет подушку и уходит, сердитая.

Ольга. Пойми, милая... мы воспитаны, быть может, странно, но я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня, я заболеваю... я просто падаю духом!

Наташа. Прости, прости... (Целует ее.)

Ольга. Всякая, даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня...

Наташа. Я часто говорю лишнее, это правда, но согласишься, моя милая, она могла бы жить в деревне.

Ольга. Она уже тридцать лет у нас.

Наташа. Но ведь теперь она не может работать! Или я тебя не понимаю, или же ты не хочешь меня

понять. Она не способна к труду, она только спит или сидит.

Ольга. И пускай сидит.

Наташа (удивленно). Как пускай сидит? Но ведь она же прислуга. (Сквозь слезы.) Я тебя не понимаю,

Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у нас горничная, кухарка... для чего же нам еще эта старуха? Для чего?

За сценой бьют в набат.

Ольга. В эту ночь я постарела на десять лет.

Наташа. Нам нужно уговориться, Оля. Раз навсегда... Ты в гимназии, я - дома, у тебя ученье, у меня -

хозяйство. И если я говорю что насчет прислуги, то знаю, что говорю; я знаю, что говорю... И чтоб завтра

же не было здесь этой старой воровки, старой хрычовки... (стучит ногами) этой ведьмы!.. Не смей меня

раздражать! Не смей! (Спохватившись.) Право, если ты не переберешься вниз, то мы всегда будем ссориться.

Это ужасно.

Входит Кулыгин.

Кулыгин. Где Маша? Нам пора бы уже домой. Пожар, говорят, стихает. (Потягивается.) Сгорел только

один квартал, а ведь был ветер, вначале казалось, горит весь город. (Садится.) Утомился. Олечка моя

милая... Я часто думаю: если бы не Маша, то я на тебе б женился, Олечка. Ты очень хорошая... Замучился.

(Прислушивается.)

Ольга. Что?

Кулыгин. Как нарочно, у доктора запой, пьян он ужасно. Как нарочно! (Встает.) Вот он идет сюда,

кажется... Слышите? Да, сюда... (Смеется.) Экий какой, право... Я спрячусь. (Идет в угол к шкапу.) Этакий

разбойник.

Ольга. Два года не пил, а тут вдруг взял и напился... (Идет с Наташей в глубину комнаты.)

Чебутыкин входит; не шатаясь, как трезвый, проходит по комнате, останавливается, смотрит, потом подходит к

рукомойнику и начинает мыть руки.

Чебутыкин (угрюмо). Черт бы всех побрал... подрал... Думают, я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно ничего, все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего.

Ольга и Наташа, незаметно для него, уходят.

Черт бы побрал. В прошлую среду лечил на Засыпи женщину - умерла, и я виноват, что она умерла. Да...

Кое-что знал лет двадцать пять назад, а теперь ничего не помню. Ничего... В голове пусто, на душе холодно.

Может быть, я и не человек, а только делаю вид, что у меня руки и ноги... и голова; может быть, я и не

существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю. (Плачет.) О, если бы не существовать!

(Перестает плакать, угрюмо.) Черт знает... Третьего дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер... Я

не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость! Низость!

И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась... и все вспомнилось, и стало на душе криво, гадко, мерзко... пошел, запил...

Ирина, Вершинин и Тузенбах входят; на Тузенбахе штатское платье, новое и модное.

Ирина. Здесь посидим. Сюда никто не войдет.

Вершинин. Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы! (Потирает от удовольствия руки.)

Золотой народ! Ах, что за молодцы!

Кулыгин (подходя к ним). Который час, господа?

Тузенбах. Уже четвертый час. Светает.

Ирина. Все сидят в зале, никто не уходит. И ваш этот Соленый сидит... (Чебутыкину.) Вы бы, доктор, шли спать.

Чебутыкин. Ничего-с... Благодарю-с. (Причесывает бороду.)

Кулыгин (смеется). Назююкался, Иван Романыч! (Хлопает по плечу.) Молодец! In vino veritas, говорили древние.

Тузенбах. Меня все просят устроить концерт в пользу погорельцев.

Ирина. Ну, кто там...

Тузенбах. Можно бы устроить, если захотеть. Марья Сергеевна, например, играет на рояле чудесно.

Кулыгин. Чудесно играет!

Ирина. Она уже забыла. Три года не играла... или четыре.

Тузенбах. Здесь в городе решительно никто не понимает музыки, ни одна душа, но я, я понимаю и

честным словом уверяю вас, Марья Сергеевна играет великолепно, почти талантливо.

Кулыгин. Вы правы, барон. Я ее очень люблю, Машу. Она славная.

Тузенбах. Уметь играть так роскошно и в то же время сознавать, что тебя никто, никто не понимает!

Кулыгин (вздыхает). Да... Но прилично ли ей участвовать в концерте?

Пауза.

Я ведь, господа, ничего не знаю. Может быть, это и хорошо будет. Должен признаться, наш директор хороший человек, даже очень хороший, умнейший, но у него такие взгляды... Конечно, не его дело, но все-таки, если хотите, то я, пожалуй, поговорю с ним.

Чебутыкин берет в руки фарфоровые часы и рассматривает их.

Вершинин. На пожаре я загрязнился весь, ни на что не похож.

Пауза.

Вчера я мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. Одни говорят, в Царство Польское, другие - будто в Читу.

Тузенбах. Я тоже слышал. Что ж? Город тогда совсем опустеет.

Ирина. И мы уедем!

Чебутыкин (роняет часы, которые разбиваются). Вдребезги!

Пауза; все огорчены и сконфужены.

Кулыгин (подбирает осколки). Разбить такую дорогую вещь - ах, Иван Романыч, Иван Романыч! Ноль с минусом вам за поведение!

Ирина. Это часы покойной мамы.

Чебутыкин. Может быть... Мамы так мамы. Может, я не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет. Ничего я не знаю, никто ничего не знает. (У двери.) Что смотрите? У Наташи романчик с Протопоповым, а вы не видите... Вы вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романчик с Протопоповым... (Поет.) Не угодно ль этот финик вам принять...

(Уходит.)

Вершинин. Да... (Смеется.) Как все это в сущности странно!

Пауза.

Когда начался пожар, я побежал скорей домой; подхожу, смотрю - дом наш цел и невредим и вне опасности, но

мои девочки стоят у порога в одном белье, матери нет, суетится народ, бегают лошади, собаки, и у девочек на лицах тревога, ужас, мольба, не знаю что; сердце у меня сжалось, когда я увидел эти лица. Боже мой, думаю, что придется пережить еще этим девочкам в течение долгой жизни! Я хватаю их, бегу и все думаю одно: что им придется пережить еще на этом свете!

Набат; пауза.

Прихожу сюда, а мать здесь, кричит, сердится.

Маша входит с подушкой и садится на диван.

И когда мои девочки стояли у порога в одном белье, босые, и улица была красной от огня, был страшный шум, то я подумал, что нечто похожее произошло много лет назад, когда набегал неожиданно враг, грабил, зажигал... Между тем, в сущности, какая разница между тем, что есть и что была! А пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести - триста лет, и на нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть и со страхом, и с насмешкой, все нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным. О, наверное, какая это будет жизнь, какая жизнь! (Смеется.) Простите, я опять зафилософствовался. Позвольте продолжать, господа. Мне ужасно хочется философствовать, такое у меня теперь настроение.

Пауза.

Точно спят все. Так я говорю: какая это будет жизнь! Вы можете себе только представить... Вот таких, как вы, в городе теперь только три, в следующих поколениях - больше, все больше и больше, и придет время, когда все изменится по-вашему, жить будут по-вашему, а потом и вы устареете, народятся люди, которые будут лучше вас... (Смеется.) Сегодня у меня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски... (Поет.) Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны... (Смеется.)

Маша. Трам-там-там...

Вершинин. Трам-там...

Маша. Тра-ра-ра?

Вершинин. Тра-та-та. (Смеется.)

Входит Федотик.

Федотик (танцует). Погорел, погорел! Весь дочиста!

Смех.

Ирина. Что ж за шутки. Все сгорело?

Федотик (смеется). Все дочиста. Ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотография сгорела, и все мои письма... И хотел подарить вам записную книжечку - тоже сгорела.

Входит Соленый.

Ирина. Нет, пожалуйста, уходите, Василий Васильич. Сюда нельзя.

Соленый. Почему же это барону можно, а мне нельзя?

Вершинин. Надо уходить, в самом деле. Как пожар?

Соленый. Говорят, стихает. Нет, мне положительно странно, почему это барону можно, а мне нельзя?

(Вынимает флакон с духами и прыскается.)

Вершинин. Трам-там-там.

Маша. Трам-там.

Вершинин (смеется, Соленому). Пойдемте в залу.

Соленый. Хорошо-с, так и запишем. Мысль эту можно б боле пояснить, да боюсь, как бы гусей не раздразнить... (Глядя на Тузенбаха.) Цып, цып, цып...

Уходит с Вершининым и Федотиком.

Ирина. Как накурил этот Соленый... (В недоумении.) Барон спит! Барон! Барон!

Тузенбах (очнувшись). Устал я, однако... Кирпичный завод... Это я не брежу, а в самом деле, скоро

поеду на кирпичный завод, начну работать... Уже был разговор. (Ирине нежно.) Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная... Мне кажется, ваша бледность проясняет темный воздух, как свет... Вы нечальны, вы недовольны жизнью... О, поедemте со мной, поедemте работать вместе!

Маша. Николай Львович, уходите отсюда.

Тузенбах (смеясь). Вы здесь? Я не вижу. (Целует Ирине руку.) Прощайте, я пойду... Я гляжу на вас

теперь, и вспоминается мне, как когда-то давно, в день ваших именин, вы, бодрая, веселая, говорили о

радостях труда... И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь! Где она? (Целует руку.) У вас слезы на

глазах. Ложитесь спать, уж светает... начинается утро... Если бы мне было позволено отдать за вас жизнь свою!

Маша. Николай Львович, уходите! Ну, что право...

Тузенбах. Ухожу... (Уходит.)

Маша (ложится). Ты спишь, Федор?

Кулыгин. А?

Маша. Шел бы домой.

Кулыгин. Милая моя Маша, дорогая моя Маша...

Ирина. Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федя.

Кулыгин. Сейчас уйду... Жена моя хорошая, славная... Люблю тебя, мою единственную... Маша(сердито). Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant.

Кулыгин (смеется). Нет, право, она удивительная. Женат я на тебе семь лет, а кажется, венчались

только вчера. Честное слово. Нет, право, ты удивительная женщина. Я доволен, я доволен, я доволен!

Маша. Надоело, надоело, надоело... (Встает и говорит сидя.) И вот не выходит у меня из головы...

Просто возмутительно. Сидит гвоздем в голове, не могу молчать. Я про Андрея... Заложил он этот дом в

банке, и все деньги забрала его жена, а ведь дом принадлежит не ему одному, а нам четверым! Он должен это

знать, если он порядочный человек.

Кулыгин. Охота тебе, Маша! На что тебе? Андрюша кругом должен, ну, и бог с ним.

Маша. Это во всяком случае возмутительно. (Ложится.)

Кулыгин. Мы с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназию, потом уроки даю... Я честный человек.

Простой... Omnia mea mecum porto, как говорится.

Маша. Мне ничего не нужно, но меня возмущает несправедливость.

Пауза.

Ступай, Федор.

Кулыгин (целует ее). Ты устала, отдохни с полчаса, а я там посижу, подожду. Спи... (Идет.) Я

доволен, я доволен, я доволен. (Уходит.)

Ирина. В самом деле, как измелечал наш Андрей, как он выдохся и постарел около этой женщины!

Когда-то готовился в профессора, а вчера хвалился, что попал, наконец, в члены земской управы. Он член

управы, а Протопопов председатель... Весь город говорит, смеется, и только он один ничего не знает и не

видит... И вот все побежали на пожар, а он сидит у себя в комнате и никакого внимания.

Только на скрипке

играет. (Нервно.) О, ужасно, ужасно, ужасно! (Плачет.) Я не могу, не могу переносить больше!.. Не могу, не

могу!..

Ольга входит, убирает около своего столика.

(Громко рыдает.) Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу!..

Ольга (испугавшись). Что ты, что ты? Милая!

Ирина (рыдая). Куда? Куда все ушло? Где оно? О, боже мой, боже мой! Я все забыла, забыла... у меня

перепуталось в голове... Я не помню, как по-итальянски окно или вот потолок... Все забываю, а жизнь уходит

и никогда не вернется, никогда, никогда мы не уедем в Москву... Я вижу, что не уедем...

Ольга. Милая, милая...

Ирина (сдерживаясь). О, я несчастная... Не могу я работать, не стану работать. Довольно, довольно!

Была телеграфисткой, теперь служу в городской управе и ненавижу, презираю все, что только мне дают

делать... Мне уже двадцать четвертый год, работаю уже давно, и мозг высох, похудела, подурнела, постарела,

и ничего, ничего, никакого удовлетворения, а время идет, и все кажется, что уходишь от настоящей

прекрасной жизни, уходишь все дальше и дальше, в какую-то пропасть. Я в отчаянии, я в отчаянии! И как я

жива, как не убила себя до сих пор, не понимаю...

Ольга. Не плачь, моя девочка, не плачь... Я страдаю.

Ирина. Я не плачу, не плачу... Довольно... Ну, вот я уже не плачу. Довольно... Довольно!

Ольга. Милая, говорю тебе как сестра, как друг, если хочешь моего совета, выходи за барона!

Ирина тихо плачет.

Ведь ты его уважаешь, высоко ценишь... Он, правда, некрасивый, но он такой порядочный, чистый... Ведь

замуж выходят не из любви, а только для того, чтобы исполнить свой долг. Я, по крайней мере, так думаю, и

я бы вышла без любви. Кто бы ни посватал, все равно бы пошла, лишь бы порядочный человек. Даже за старика

бы пошла...

Ирина. Я все ждала, переселимся в Москву, там мне встретится мой настоящий, я мечтала о нем,

любила... Но оказалось, все вздор, все вздор...

Ольга (обнимает сестру). Милая моя, прекрасная сестра, я все понимаю: когда барон Николай Львович

оставил военную службу и пришел к нам в пиджаке, то показался мне таким некрасивым, что я даже

заплакала... Он спрашивает: "что вы плачете?" Как я ему скажу! Но если бы бог привел ему жениться на тебе,

то я была бы счастлива. Тут ведь другое, совсем другое.

Наташа со свечой проходит через сцену из правой двери в левую молча.

Маша (садится). Она ходит так, как будто она подохла.

Ольга. Ты, Маша, глупая. Самая глупая в нашей семье это ты. Извини, пожалуйста.

Пауза.

Маша. Мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя. Покаяюсь вам и уж больше никому,

никогда... Скажу сию минуту. (Тихо.) Это моя тайна, но вы все должны знать... Не могу молчать...

Пауза.

Я люблю, люблю... Люблю этого человека... Вы его только что видели... Ну, да что там.
Одним словом, люблю
Вершинина...

Ольга (идет к себе за ширму). Оставь это. Я все равно не слышу.

Маша. Что же делать! (Берется за голову.) Он казался мне сначала странным, потом я жалела его...

потом полюбила... полюбила с его голосом, его словами, несчастьями, двумя девочками...

Ольга (за ширмой). Я не слышу, все равно. Какие бы ты глупости ни говорила, я все равно не слышу.

Маша. Э, чудная ты, Оля. Люблю - такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая... И он меня

любит... Это все страшно. Да? Не хорошо это? (Тянет Ирину за руку, привлекает к себе.) О моя милая...

Как-то мы проживем нашу жизнь, что из нас будет... Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все

это старо, и все так понятно, а как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает и каждый

должен решать сам за себя... Милые мои, сестры мои... Призналась вам, теперь буду молчать... Буду теперь,

как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание...

Входит Андрей, за ним Ферапонт.

Андрей (сердито). Что тебе нужно? Я не понимаю.

Ферапонт (в дверях, нетерпеливо). Я, Андрей Сергеич, уж говорил раз десять.

Андрей. Во-первых, я тебе не Андрей Сергеич, а ваше высокоблагородие!

Ферапонт. Пожарные, ваше высокоблагородие, просят, дозволейте на реку садом проехать. А то кругом ездют,
ездют - чистое наказание.

Андрей. Хорошо. Скажи, хорошо.

Ферапонт уходит.

Надоели. Где Ольга?

Ольга показывается из-за ширмы.

Я пришел к тебе, дай мне ключ от шкапа, я затерял свой. У тебя есть такой маленький ключик.

Ольга подает ему молча ключ. Ирина идет к себе за ширму; пауза.

А какой громадный пожар! Теперь стало утихать. Черт знает, разозлил меня этот Ферапонт, я сказал ему

глупость... Ваше высокоблагородие...

Пауза.

Что же ты молчишь, Оля?

Пауза.

Пора уже оставить эти глупости и не дуться так, здорово-живешь... Ты, Маша, здесь, Ирина здесь, ну вот прекрасно - объяснимся начистоту, раз навсегда. Что вы имеете против меня? Что?

Ольга. Оставь, Андрюша. Завтра объяснимся. (Волнуясь.) Какая мучительная ночь! Андрей (он очень смущен). Не волнуйся. Я совершенно хладнокровно вас спрашиваю: что вы имеете против меня? Говорите прямо.

Голос Вершинина: "Трам-там-там! "

Маша (встает, громко). Тра-та-та! (Ольге.) Прощай, Оля, господь с тобой. (Идет за ширму, целует

Ирину.) Спи покойно... Прощай, Андрей. Уходи, они утомлены... завтра объяснишься... (Уходит.)

Ольга. В самом деле, Андрюша, отложим до завтра... (Идет к себе за ширму.) Спать пора. Андрей. Только скажу и уйду. Сейчас... Во-первых, вы имеете что-то против Наташи, моей жены, и это я замечаю с самого дня моей свадьбы. Если желаете знать, Наташа прекрасный, честный человек, прямой и благородный - вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю, понимаю, уважаю и требую, чтобы ее уважали также и другие. Повторяю, она честный, благородный человек, а все ваши неудовольствия, простите, это просто капризы...

Пауза.

Во-вторых, вы как будто сердитесь за то, что я не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу в земстве, я член земской управы и это свое служение считаю таким же святым и высоким, как служение науке. Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать...

Пауза.

В-третьих... Я еще имею сказать... Я заложил дом, не испросив у вас позволения... В этом я виноват, да, и прошу меня извинить. Меня побудили к тому долги... тридцать пять тысяч... Я уже не играю в карты, давно

бросил, но главное, что могу сказать в свое оправдание, это то, что вы девушки, вы получаете пенсию, я же не имел... заработка, так сказать...

Пауза.

Кулыгин (в дверь). Маши здесь нет? (Встревоженно.) Где же она? Это странно... (Уходит.) Андрей. Не слушают. Наташа превосходный, честный человек. (Ходит по сцене молча, потом останавливается.) Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы... все счастливы... Но боже мой... (Плачет.) Милые мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте... (Уходит.) Кулыгин (в дверь встревоженно). Где Маша? Здесь Маши нет? Удивительное дело. (Уходит.)

Набат, сцена пустая.

Ирина (за ширмами). Оля! Кто это стучит в пол?
Ольга. Это доктор Иван Романыч. Он пьян.
Ирина. Какая беспокойная ночь!

Пауза.

Оля! (Выглядывает из-за ширм.) Слышала? Бригаду берут от нас, переводят куда-то далеко.

Ольга. Это слухи только.

Ирина. Останемся мы тогда одни... Оля!

Ольга. Ну?

Ирина. Милая, дорогая, я уважаю, я ценю барона, он прекрасный человек, я выйду за него, согласна, только поедem в Москву! Умоляю тебя, поедem! Лучше Москвы нет ничего на свете! Поедem, Оля! Поедem!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Старый сад при доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки - лес. Направо терраса дома; здесь на столе бутылки и стаканы; видно, что только что пили шампанское.

Двенадцать часов дня. С улицы к реке через сад ходят изредка прохожие; быстро проходят человек пять солдат.

Чебутыкин в благодушном настроении, которое не покидает его в течение всего акта, сидит в кресле, в саду,

ждет, когда его позовут; он в фуражке и с палкой. Ирина, Кулыгин с орденом на шее, без усов, и Тузенбах, стоя на террасе, провожают Федотика и Родэ, которые сходят вниз; оба офицера в походной форме.

Тузенбах (целуется с Федотиком). Вы хороший, мы жили так дружно. (Целуется с Родэ.)
Еще раз...

Прощайте, дорогой мой!

Ирина. До свиданья!

Федотик. Не до свиданья, а прощайте, мы больше уже никогда не увидимся!

Кулыгин. Кто знает! (Вытирает глаза, улыбается.) Вот и я заплакал.

Ирина. Когда-нибудь встретимся.

Федотик. Лет через десять - пятнадцать? Но тогда мы едва узнаем друг друга, холодно поздороваемся...

(Снимает фотографию.) Стойте... Еще в последний раз.

Родэ (обнимает Тузенбаха). Не увидимся больше... (Целует руку Ирине.) Спасибо за все, за все!

Федотик (с досадой). Да постой!

Тузенбах. Даст бог, увидимся. Пишите же нам. Непременно пишите.

Родэ (окидывает взглядом сад). Прощайте, деревья! (Кричит.) Гоп-гоп!

Пауза.

Прощай, эхо!

Кулыгин. Чего доброго женитесь там, в Польше... Жена полька обнимет и скажет: "кохане!" (Смеется.)

Федотик (взглянув на часы). Осталось меньше часа. Из нашей батареи только Солёный пойдёт на барже, мы же со строевой частью. Сегодня уйдут три батареи дивизионно, завтра опять три - и в городе наступит тишина и спокойствие.

Тузенбах. И скучища страшная.

Родэ. А Мария Сергеевна где?

Кулыгин. Маша в саду.

Федотик. С ней проститься.

Родэ. Прощайте, надо уходить, а то я заплачу... (Обнимает быстро Тузенбаха и Кулыгина, целует руку

Ирине). Прекрасно мы здесь пожили...

Федотик (Кулыгину). Это вам на память... книжка с карандашиком... Мы здесь пойдём к реке...

Отходят, оба оглядываются.

Родэ (кричит). Гоп-гоп!

Кулыгин (кричит). Прощайте!

В глубине сцены Федотик и Родэ встречаются с Машей и прощаются с нею; она уходит с ними.

Ирина. Ушли... (Садится на нижнюю ступень террасы.)

Чебутыкин. А со мной забыли проститься.

Ирина. Вы же чего?

Чебутыкин. Да и я как-то забыл. Впрочем, скоро увижусь с ними, ухожу завтра. Да... Еще один денек

остался. Через год дадут мне отставку, опять приеду сюда и буду доживать свой век около вас. Мне до пенсии

только один годочек остался... (Кладет в карман газету, вынимает другую.) Приеду сюда к вам и изменю жизнь

коренным образом. Стану таким тихоньким, благо... благоугодным, приличненьким...

Ирина. А вам надо бы изменить жизнь, голубчик. Надо бы как-нибудь.

Чебутыкин. Да. Чувствую. (Тихо напевает.) Тарара... бумбия... сижу на тумбе я...

Кулыгин. Неисправим Иван Романыч! Неисправим!

Чебутыкин. Да вот к вам бы на выучку. Тогда бы исправился.

Ирина. Федор сбрил себе усы. Видеть не могу!

Кулыгин. А что?

Чебутыкин. Я бы сказал, на что теперь похожа ваша физиономия, да не могу.

Кулыгин. Что ж! Так принято, это *modus vivendi*. Директор у нас с выбритыми усами, и я тоже, как стал

инспектором, побрился. Никому не нравится, а для меня все равно. Я доволен. С усами я или без усов, а я

одинаково доволен... (Садится.)

В глубине сцены Андрей провозит в колясочке спящего ребенка.

Ирина. Иван Романыч, голубчик, родной мой, я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре,

скажите, что произошло там?

Чебутыкин. Что произошло? Ничего. Пустяки. (Читает газету.) Все равно!

Кулыгин. Так рассказывают, будто Соленый и барон встретились вчера на бульваре около театра...

Тузенбах. Перестаньте! Ну, что право... (Машет рукой и уходит в дом.)

Кулыгин. Около театра... Соленый стал придирается к барону, а тот не стерпел, сказал что-то

обидное...

Чебутыкин. Не знаю. Чепуха все.

Кулыгин. В какой-то семинарии учитель написал на сочинении "чепуха", а ученик прочел "реникса" -

думал, по-латыни написано. (Смеется.) Смешно удивительно. Говорят, Соленый влюблен в Ирину и будто

возненавидел барона... Это понятно. Ирина очень хорошая девушка. Она даже похожа на Машу, такая же

задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче. Хотя и у Маши, впрочем, тоже очень хороший характер. Я

ее люблю, Машу.

В глубине сада за сценой: "Ау! Гоп-гоп! "

Ирина (вздрагивает). Меня как-то все пугает сегодня.

Пауза.

У меня уже все готово, я после обеда отправляю свои вещи. Мы с бароном завтра венчаемся, завтра же уезжаем на кирпичный завод, и послезавтра я уже в школе, начинается новая жизнь. Как-то мне поможет бог! Когда я держала экзамен на учительницу, то даже плакала от радости, от благодати...

Пауза.

Сейчас приедет подвода за вещами...

Кулыгин. Так-то оно так, только как-то все это не серьезно. Одни только идеи, а серьезного мало.

Впрочем, от души тебе желаю.

Чебутыкин (в умилении). Славная моя, хорошая... Золотая моя... Далеко вы ушли, не догонишь вас.

Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не может лететь. Летите, мои милые, летите с богом!

Пауза.

Напрасно, Федор Ильич, вы усы себе сбрили.

Кулыгин. Будет вам! (Вздыхает.) Вот сегодня уйдут военные, и все опять пойдет по-старому. Что бы там ни говорили, Маша хорошая, честная женщина, я ее очень люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у людей разная... Тут в акцизе служит некто Козырев. Он учился со мной, его уволили из пятого класса гимназии за то, что никак не мог понять *ut consecutivum*. Теперь он ужасно бедствует, болен, и я, когда встречаюсь, то говорю ему: "Здравствуй, *ut consecutivum*" - Да, говорит, именно *consecutivum*... а сам кашляет. А мне вот всю мою жизнь везет, я счастлив, вот имею даже Станислава второй степени и сам теперь преподаю другим это *ut consecutivum*. Конечно, я умный человек, умнее очень многих, но счастье не в этом...

В доме играют на рояле "Молитву девы".

Ирина. А завтра вечером я уже не буду слышать этой "Молитвы девы", не буду встречаться с Протопоповым...

Пауза.

А Протопопов сидит там в гостиной; и сегодня пришел...

Кулыгин. Начальница еще не приехала?

В глубине сцены тихо проходит Маша, прогуливаясь.

Ирина. Нет. За ней послали. Если б только вы знали, как мне трудно жить здесь одной, без Оли... Она живет в гимназии; она начальница, целый день занята делом, а я одна, мне скучно, нечего делать, и ненавистна комната, в которой живу... Я так и решила: если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть. Значит, судьба. Ничего не поделаешь... Вс! в божьей воле, это правда. Николай Львович сделал мне предложение... Что ж? Подумала и решила. Он хороший человек, удивительно даже, такой хороший... И у меня вдруг точно крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать, работать... Только вот вчера произошло что-то, какая-то тайна нависла надо мной... Чебутыкин. Реникса. Чепуха. Наташа (в окно). Начальница! Кулыгин. Приехала начальница. Пойдем.

Уходит с Ириной в дом.

Чебутыкин (читает газету и тихо напевает). Тара-ра... бумбия... сижу на тумбе я...

Маша подходит; в глубине Андрей провозит колясочку.

Маша. Сидит себе здесь, посиживает...

Чебутыкин. А что?

Маша (садится). Ничего...

Пауза.

Вы любили мою мать?

Чебутыкин. Очень.

Маша. А она вас?

Чебутыкин (после паузы). Этого я уже не помню.

Маша. Мой здесь? Так когда-то наша кухарка Марфа говорила про своего городского: мой. Мой здесь?

Чебутыкин. Нет еще.

Маша. Когда берешь счастье урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, как я, то мало-помалу

грубеешь, становишься злющей. (Указывает себе на грудь.) Вот тут у меня кипит... (Глядя на брата Андрея,

который провозит колясочку.) Вот Андрей наш, братец... Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали

колокол, потрачено было много труда и денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг, ни с того ни с сего. Так и

Андрей...

Андрей. И когда, наконец, в доме успокоятся. Такой шум.

Чебутыкин. Скоро. (Смотрит на часы, потом заводит их; часы бьют.) У меня часы старинные, с боем...

Первая, вторая и пятая батарея уйдут ровно в час.

Пауза.

А я завтра.

Андрей. Навсегда?

Чебутыкин. Не знаю. Может, через год вернусь. Хотя черт его знает... Все равно...

Слышно, как где-то далеко играют на арфе и скрипке.

Андрей. Опустеет город. Точно его колпаком накроют.

Пауза.

Что-то произошло вчера около театра; все говорят, а я не знаю.

Чебутыкин. Ничего. Глупости. Соленый стал придирааться к барону, а тот вспылил и оскорбил его, и

вышло так в конце концов, что Соленый обязан был вызвать его на дуэль. (Смотрит на часы.) Пора бы,

кажется, уж... В половине первого, в казенной роще, вот в той, что отсюда видать за рекой... Пиф-паф.

(Смеется.) Соленый воображает, что он Лермонтов, и даже стихи пишет. Вот шутки шутками, а уж у него третья

дуэль.

Маша. У кого?

Чебутыкин. У Соленого.

Маша. А у барона?

Чебутыкин. Что у барона?

Пауза.

Маша. В голове у меня перепуталось... Все-таки, я говорю, не следует им позволять. Он может ранить

барона или даже убить.

Чебутыкин. Барон хороший человек, но одним бароном больше, одним меньше - не все ли равно? Пускай!

Все равно!

За садом крик: "Ау! Гоп-гоп!"

Подождешь. Это Скворцов кричит, секундانت. В лодке сидит.

Пауза.

Андрей. По-моему, и участвовать на дуэли, и присутствовать на ней, хотя бы в качестве
врача, просто

безнравственно.

Чебутыкин. Это только кажется... Ничего нет на свете, нас нет, мы не существуем, а только
кажется,

что существуем... И не все ли равно!

Маша. Так вот целый день говорят, говорят... (Идет.) Живешь в таком климате, того гляди,
снег

пойдет, а тут еще эти разговоры... (Останавливаясь.) Я не пойду в дом, я не могу туда
ходить... Когда

придет Вершинин, скажете мне... (Идет по аллее.) А уже летят перелетные птицы...

(Глядит вверх.) Лебеди,

или гуси... Милые мои, счастливые мои... (Уходит.)

Андрей. Опустеет наш дом. Уедут офицеры, уедете вы, сестра замуж выйдет, и останусь в
доме я один.

Чебутыкин. А жена?

Ферапонт входит с бумагами.

Андрей. Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но в ней есть при всем том
нечто

принижающее ее до мелкого, слепого, этакое шаршавого животного. Во всяком случае,
она не человек. Говорю

вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Я люблю

Наташу, это так, но иногда

она мне кажется удивительно пошлой, и тогда я теряюсь, не понимаю, за что, отчего я так
люблю ее, или, по

крайней мере, любил...

Чебутыкин (встает). Я, брат, завтра уезжаю, может, никогда не увидимся, так вот тебе мой
совет.

Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку и уходи... уходи и иди, иди без оглядки. И
чем дальше уйдешь,

тем лучше.

Соленый проходит к глубине сцены с двумя офицерами; увидев Чебутыкина, он
поворачивает к нему; офицеры
идут дальше.

Соленый. Доктор, пора! Уже половина первого. (Здоровается с Андреем.)

Чебутыкин. Сейчас. Надоели вы мне все. (Андрею.) Если кто спросит меня, Андрюша, то
скажешь, я

сейчас... (Вздыхает.) Охо-хо-хо!

Соленый. Он ахнуть не успел, как на него медведь напал. (Идет с ним.) Что вы кричите,
старик?

Чебутыкин. Ну!

Соленый. Как здоровье?

Чебутыкин (сердито). Как масло коровье.

Соленый. Старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного, я только подстрелю его, как вальдшнепа.

(Вынимает духи и брызгает на руки.) Вот вылил сегодня целый флакон, а они все пахнут. Они у меня пахнут трупом.

Пауза.

Так-с... Помните стихи? А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой...

Чебутыкин. Да. Он ахнуть не успел, как на него медведь напал. (Уходит с Соленым.)

Слышны крики: "Гоп! Ау!" Андрей и Ферапонт входят.

Ферапонт. Бумаги подписать...

Андрей (нервно). Отстань от меня! Отстань! Умоляю! (Уходит с колясочкой.)

Ферапонт. На то ведь и бумаги, чтоб их подписывать. (Уходит в глубину сцены.)

Входят Ирина и Тузенбах в соломенной шляпе, Кулыгин проходит через сцену, крича: "Ау, Маша, ау!"

Тузенбах. Это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходят военные.

Ирина. Это понятно.

Пауза.

Наш город опустеет теперь.

Тузенбах. Милая, я сейчас приду.

Ирина. Куда ты?

Тузенбах. Мне нужно в город, затем... проводить товарищей.

Ирина. Неправда... Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня?

Пауза.

Что вчера произошло около театра?

Тузенбах (нетерпеливое движение). Через час я вернусь и опять буду с тобой. (Целует ей руки.)

Ненаглядная моя... (Всматривается ей в лицо.) Уже пять лет прошло, как я люблю тебя, и все не могу

привыкнуть, и ты кажешься мне все прекраснее. Какие прелестные, чудные волосы!

Какие глаза! Я увезу тебя

завтра, мы будем работать, будем богаты, мечты мои оживут. Ты будешь счастлива.

Только вот одно, только

одно: ты меня не любишь!

Ирина. Это не в моей власти! Я буду твоей женой, и верной, и покорной, но любви нет, что же делать!

(Плачет.) Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян.

Пауза.

У тебя беспокойный взгляд.

Тузенбах. Я не спал всю ночь. В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня, и только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне спать. Скажи мне что-нибудь.

Пауза.

Скажи мне что-нибудь...

Ирина. Что? Что? Кругом все так таинственно, старые деревья стоят, молчат... (Кладет голову ему на грудь.)

Тузенбах. Скажи мне что-нибудь.

Ирина. Что? Что сказать? Что?

Тузенбах. Что-нибудь.

Ирина. Полно! Полно!

Пауза.

Тузенбах. Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение, вдруг ни с того ни с сего. По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками, и все же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом! Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!

Крик: "Ау! Гоп-гоп!"

Надо идти, уже пора... Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая... (Целует руки.) Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе, под календарем.

Ирина. И я с тобой пойду.

Тузенбах (тревожно). Нет, нет! (Быстро идет, на аллее останавливается.) Ирина!

Ирина. Что?

Тузенбах (не зная, что сказать). Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили...

(Быстро
уходит.)

Ирина стоит задумавшись, потом уходит в глубину сцены и садится на качели. Входит Андрей с колясочкой, показывается Ферапонт.

Ферапонт. Андрей Сергеич, бумаги-то ведь не мои, а казенные. Не я их выдумал.

Андрей. О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал и мыслил

изящно, когда настоящее и будущее мое озарялись надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны,

серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны... Город наш существует уже двести лет, в нем

сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в

настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал

бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают... рождаются другие,

и тоже едят, пьют, спят и, чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой,

картами, сутяжничеством, и жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не

слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра божия гаснет в них, и они становятся такими же

жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери... (Ферапонту сердито.) Что тебе?

Ферапонт. Чего? Бумаги подписать.

Андрей. Надоел ты мне.

Ферапонт (подавая бумаги). Сейчас швейцар из казенной палаты сказывал... Будто, говорит, зимой в

Петербурге мороз был в двести градусов.

Андрей. Настоящее противно, но зато когда я думаю о будущем, то как хорошо!

Становится так легко,

так просторно; и вдали забрезжит свет, я вижу свободу, я вижу, как я и дети мои становимся свободны от

праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства...

Ферапонт. Две тысячи людей померзло будто. Народ, говорит, ужасался. Не то в Петербурге, не то в

Москве - не упомяну.

Андрей (охваченный нежным чувством). Милые мои сестры, чудные мои сестры! (Сквозь слезы.) Маша,

сестра моя...

Наташа (в окне). Кто здесь разговаривает так громко? Это ты, Андрюша? Софочку разбудишь. Il ne faut

pas faire du bruit, la Sophie est dormee deia. Vous etes un ours. (Рассердившись.) Если хочешь
разговаривать, то отдай колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Феррапонт, возьми у барина колясочку!
Феррапонт. Слушаю. (Берет колясочку.)
Андрей (сконфуженно). Я говорю тихо.
Наташа (за окном, лаская своего мальчика). Бобик! Шалун Бобик! Дурной Бобик!
Андрей (оглядывая бумаги). Ладно, пересмотрю и, что нужно, подпишу, а ты снесешь опять в управу...
(Уходит в дом, читая бумаги; Феррапонт везет колясочку.)
Наташа (за окном). Бобик, как зовут твою маму? Милый, милый! А это кто? Это тетя Оля. Скажи тете:
здравствуй, Оля!

Бродячие музыканты, мужчина и девушка, играют на скрипке и арфе; оз дому выходят Вершинин, Ольга и Анфиса
и с минуту слушают молча; подходит Ирина.

Ольга. Наш сад, как проходной двор, через него и ходят, и ездят. Няня, дай этим музыкантам что-нибудь!..
Анфиса (подает музыкантам). Уходите с богом, сердечные. (Музыканты кланяются и уходят.) Горький народ. От сытости не заиграешь. (Ирине.) Здравствуй, Ариша! (Целует ее.) И-и, деточка, вот живу! Вот живу!
В гимназии на казенной квартире, золотая, вместе с Олюшкой - определил господь на старости лет. Отродясь я, грешница, так не жила... Квартира большая, казенная, и мне цельная комнатка и кроватка. Все казенное.
Проснусь ночью и - о господи, мать божия, счастливей меня человека нету!
Вершинин (взглянув на часы). Сейчас уходим, Ольга Сергеевна. Мне пора.

Пауза.

Я желаю вам всего, всего... Где Мария Сергеевна?

Ирина. Она где-то в саду. Я пойду поищу ее.
Вершинин. Будьте добры. Я тороплюсь.
Анфиса. Пойду и я поищу. (Кричит.) Машенька, ау!

Уходит вместе с Ириной в глубину сада.

А-у, а-у!

Вершинин. Все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся. (Смотрит на часы.) Город давал нам что-то вроде завтрака, пили шампанское, городской голова говорил речь, я ел и слушал, а душой был здесь, у вас...
(Оглядывает сад.) Привык я к вам.

Ольга. Увидимся ли мы еще когда-нибудь?

Вершинин. Должно быть, нет.

Пауза.

Жена моя и обе девочки проживут здесь еще месяца два; пожалуйста, если что случится или что понадобится...

Ольга. Да, да, конечно. Будьте покойны.

Пауза.

В городе завтра не будет уже ни одного военного, все станет воспоминанием, и, конечно, для нас начнется новая жизнь...

Пауза.

Все делается не по-нашему. Я не хотела быть начальницей и все-таки сделалась ею. В Москве, значит, не быть...

Вершинин. Ну... Спасибо вам за все. Простите мне, если что не так... Много, очень уж много я говорил

- и за это простите, не поминайте лихом.

Ольга (утирает глаза). Что ж это Маша не идет...

Вершинин. Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать?.. (Смеется.) Жизнь тяжела.

Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все яснее

и легче, и, по-видимому, не далеко время, когда она станет совсем ясной. (Смотрит на часы.) Пора мне,

пора! Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегам,

победами, теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем

заполнить; человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее!

Пауза.

Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие. (Смотрит на часы.) Мне,

однако, пора...

Ольга. Вот она идет.

Маша входит.

Вершинин. Я пришел проститься...

Ольга отходит немного в сторону, чтобы не помешать прощанию.

Маша (смотрит ему в лицо). Прощай...

Продолжительный поцелуй.

Ольга. Будет, будет...

Маша сильно рыдает.

Вершинин. Пиши мне... Не забывай! Пусти меня... пора... Ольга Сергеевна, возьмите ее, мне уже...

пора... опоздал... (Растроганный, целует руки Ольге, потом еще раз обнимает Машу и быстро уходит.)

Ольга. Будет, Маша! Перестань, милая...

Входит Кулыгин.

Кулыгин (в смущении). Ничего, пусть поплачет, пусть... Хорошая моя Маша, добрая моя Маша... Ты моя жена, и я счастлив, что бы там ни было... Я не жалею, не делаю тебе ни одного упрека... вот и Оля

свидетельница... Начнем жить опять по-старому, и я тебе ни одного слово, ни намек...

Маша (сдерживая рыдания). У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... золотая цепь на дубе

том... Я с ума схожу... У лукоморья... дуб зеленый...

Ольга. Успокойся, Маша... Успокойся... Дай ей воды.

Маша. Я больше не плачу...

Кулыгин. Она уже не плачет... она добрая...

Слышен глухой далекий выстрел.

Маша. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... Кот зеленый... дуб зеленый... Я путаю...

(Пьет воду.) Неудачная жизнь... Ничего мне теперь не нужно... Я сейчас успокоюсь... Все равно... Что

значит у лукоморья? Почему это слово у меня в голове? Путаются мысли.

Ирина входит.

Ольга. Успокойся, Маша. Ну, вот умница... Пойдем в комнату.

Маша (сердито). Не пойду я туда. (Рыдает, но тотчас же останавливается.) Я в дом уже не хожу, и не пойду...

Ирина. Давайте посидим вместе, хоть помолчим. Ведь завтра я уезжаю...

Пауза.

Кулыгин. Вчера в третьем классе у одного мальчугана я отнял вот усы и бороду...
(Надевает усы и бороду.) Похож на учителя немецкого языка... (Смеется.) Не правда ли? Смешные эти мальчишки.

Маша. В самом деле похож на вашего немца.

Ольга (смеется). Да.

Маша плачет.

Ирина. Будет, Маша!

Кулыгин. Очень похож...

Входит Наташа.

Наташа (горничной). Что? С Софочкой посидит Протопопов, Михаил Иванович, а Бобика пусть покатает Андрей Сергеич. Столько хлопот с детьми... (Ирине.) Ты завтра уезжаешь, Ирина - такая жалость. Останься еще хоть недельку. (Увидев Кулыгина, вскрикивает; тот смеется и снимает усы и бороду.) Ну вас совсем, испугали! (Ирине.) Я к тебе привыкла и расстаться с тобой, ты думаешь, мне будет легко? В твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой - пусть там пилит! - а в его комнату мы поместим Софочку. Дивный, чудный ребенок! Что за девчурочка! Сегодня она посмотрела на меня своими глазками и - "мама"!

Кулыгин. Прекрасный ребенок, это верно.

Наташа. Значит, завтра я уже одна тут. (Вздыхает.) Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клен. По вечерам он такой страшный, некрасивый... (Ирине.) Милая, совсем не к лицу тебе этот пояс... Это безвкусица. Надо что-нибудь светленькое. И тут везде я велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах... (Строго.) Зачем здесь на скамье валяется вилка? (Проходя в дом, горничной.) Зачем здесь на скамье валяется вилка, я спрашиваю? (Кричит.) Молчать!
Кулыгин. Разошлась!

За сценой музыка играет марш; все слушают.

Ольга. Уходят.

Входит Чебутыкин.

Маша. Уходят наши. Ну, что ж... Счастливый им путь! (Мужу.) Надо домой... Где моя шляпа и тальма...

Кулыгин. Я в дом отнес... Принесу сейчас. (Уходит в дом.)

Ольга. Да, теперь можно по домам. Пора.

Чебутыкин. Ольга Сергеевна!

Ольга. Что?

Пауза.

Что?

Чебутыкин. Ничего... Не знаю, как сказать вам... (Шепчет ей на ухо.)

Ольга (в испуге). Не может быть!

Чебутыкин. Да... такая история... Утомился я, замучился, больше не хочу говорить... (С досадой.)

Впрочем, все равно!

Маша. Что случилось?

Ольга (обнимает Ирину). Ужасный сегодня день... Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая...

Ирина. Что? Говорите скорей: что? Бога ради! (Плачет.)

Чебутыкин. Сейчас на дуэли убит барон.

Ирина. Я знала, я знала...

Чебутыкин (в глубине сцены садится на скамью). Утомился... (Вынимает из кармана газету.) Пусть

поплачут... (Тихо напевает.) Та-ра-ра-бумбия... сажу на тумбе я... Не все ли равно!

Три сестры стоят, прижавшись друг к другу.

Маша. О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем навсегда, мы останемся одни,

чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить...

Ирина (кладет голову на грудь Ольге). Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти

страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить... надо работать, только работать!

Завтра я поеду одна,

буду учить в школе и всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть может, нужна. Теперь осень, скоро придет

зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду работать...

Ольга (обнимает обеих сестер). Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, боже мой! Пройдет

время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши

перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым

словом и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка

играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем...

Если бы знать, если бы знать!

Музыка играет все тише и тише; Кулыгин, веселый, улыбающийся, несет шляпу и тальму, Андрей везет другую

колясочку, в которой сидит Бобик.

Чебутыкин (тихо напевает). Тара... ра... бумбия... сижу на тумбе я... (Читает газету.) Все равно!

Все равно!

Ольга. Если бы знать, если бы знать!

З а н а в е с .

Впервые напечатано в журнале "Русская мысль", N2, 1901 г.